НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

А. Бек



А. Бек · НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В ноябрьском номере журнала «Новый мир» за 1965 год появилось объявление, что в 1966 году будет опубликован новый роман А. Бека. Однако роман опубликован не был. На таинственное исчезновение романа пролила свет протокольная запись заседания Секции прозы Московской писательской организации 16 ноября 1966 года, на котором обсуждалась повесть А. Солженицына «Раковый корпус» (см. т. 6 Собр. соч. Александра Солженицына, изд. «Посев»).

Вот что сказал на этом обсуждении Вениамин Каверин: «Почему до сих пор не издан роман Бека 'Новое назначение'? Лучшие, самые опытные литераторы высказались за издание книги Бека. На другой чаше весов было мнение какой-то дамы. И мнение дамы перевесило. И в промышленности, и в науке уже прислушиваются к мнению специалистов, в литературе — нет».

Упомянутая дама — вдова Ивана Тевосяна, долголетнего министра металлургической промышленности. Она в Онисимове — главном герое романа — узнала своего мужа, который, кстати, был одним из самых раболепных соратников Сталина.

Партийная верхушка, которой антисталинская книга Бека пришлась не по вкусу, запретила публикацию, использовав, как предлог, возражения энергичной вдовы. Поэтому, несмотря на настойчивые старания, А Твардовскому, тогдашнему редактору «Нового мира», так и не удалось сломить сопротивление Главлита.

На заседании, о котором речь шла выше, писатель Елизарий Мальцев выразил надежду, «...что книга Бека будет издана. У нас идут сложные и необратимые процессы демократизации, — догматики и субъективисты могут помешать этим процессам, но не могут их остановить».

Надежды эти не оправдались. Слишком медленно идут те процессы, о которых говорил Мальцев.

Спустя несколько лет, в начале апреля 1970 года, Петр Демичев, секретарь ЦК КПСС по вопросам идеологии, принял Александра Бека и сказал ему, что «есть решение» опубликовать в «Новом мире» роман «Новое назначение». Однако это «решение» ни в 1970, ни в 1971 году реализовано не было.

Издание романа «Новое назначение» в зарубежных издательствах — неизбежное следствие неоправдавшихся надежд и невоплощенных в жизнь «решений».

«Ты обо мне не думай плохо, моя жестокая эпоха» — это тщетная надежда главного героя романа, крупного сталинского сановника, Онисимова. Добровольное, беспрекословное подчинение вождю и обожествление его — вот вся идеология Онисимова. Во что превращает человека эта идеология, и на что способны такие люди — эта одна из сущностей сталинщины.

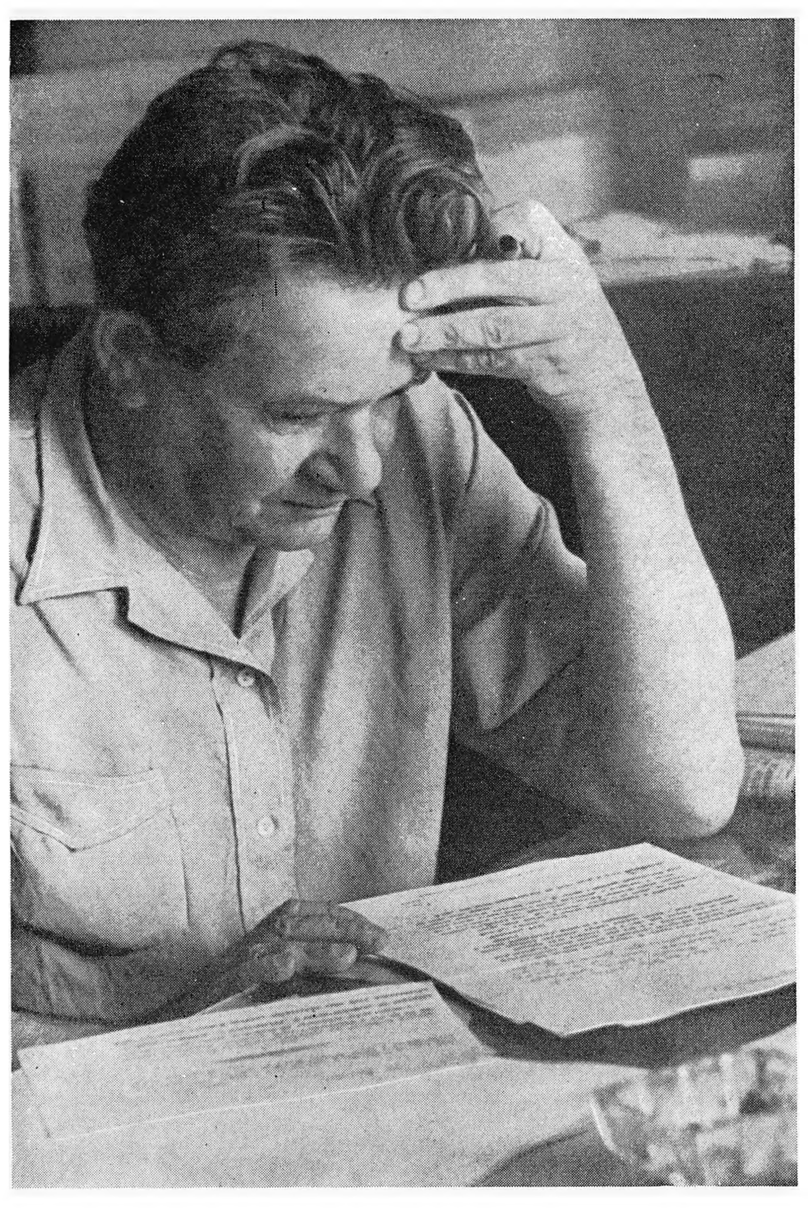
А. Бек, как художник, раскрывает именно эту сущность сталинского периода истории России. Дорога в ад вымощена благими намерениями — вот основная идея романа. Эта идея реализована автором с присущим ему мастерством.

Александр Альфредович Бек родился в 1902 году в Саратове в семье военного врача. Из последнего класса реального училища он пошел добровольцем в Красную Армию. По окончании гражданской войны Александр Бек учился, — и писал очерки и рецензии для центральных газет.

В 1931 году, по поручению редакции «История фабрик и заводов», возглавляемой М. Горьким, Бек отправился в Сибирь писать историю Кузбасса. Там он познакомился с известнейшим металлургом, академиком И. П. Бардиным, от которого и узнал об умершем в 1920 году в Кузнецке доменщике-самородке Михаиле Курако. Михаилу Курако и была посвящена первая повесть А. Бека «Курако», опубликованная в 1934 году в журнале «Знамя».

В начале войны Бек пошел в Московское народное ополчение. В качестве военного корреспондента он провел месяцы битвы за Москву среди войск, оборонявшихся на Волоколамском направлении. Эту тяжелую пору Бек описал в повести «Волоколамское шоссе» (1943-1944), принесшей ему известность. Продолжением этой книги были повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова», опубликованные в 1960 году.

Много повестей и рассказов посвятил Бек теме металлургии, и в начале шестидесятых годов задумал цикл романов. Его замысел был — создать картину истории советского общества, взяв основной темой развитие металлургии. В разговоре с Ольгой Грудцовой, автором критико-биографического очерка о нем, Бек сообщил, что первый роман задуманного цикла будет назван «История болезни № 2277». Эпиграфом должны были стоять слова Э. Казакевича: «Конец железного века. Победителей судят».



Александр Альфредович Бек

Александр Бек

Новое назначение

ПОСЕВ

Фотография на обложке из югославского кинофильма
«Роль моей семьи в мировой революции»

Frankfurt am Main
Printed in Germany

Изучая жизнь Александра Леонтьевича Онисимова, беседуя с людьми, более или менее его близко знавшими, я установил, что первая неясная весть о его смещении пронеслась еще летом 1956 года.

Молва по этому поводу поначалу не подтвердилась. Шли дни, сменялись месяцы, а он оставался главой комитета. Однако уже в сентябре, секретари и референты Онисимова узнали, что (употребим характерное выражение времени) *решение состоялось:* Онисимову отныне предназначена дипломатическая деятельность, он вскоре уедет в одну из стран северной Европы. Уже от многих можно было услышать об этом.

От многих. Но не от самого Онисимова. Он по-прежнему ровно в девять утра входил в свой кабинет на втором этаже здания Совета Министров в Охотном ряду. К его приходу на его письменном столе лежали, как обычно, суточные сводки о работе заводов чёрной и цветной металлургии, о добыче нефти и угля. Опустившись в дубовое кресло с жестковатым, крытым искусственной кожей сидением (сотрудникам Онисимова давно известны его вкусы, нелюбовь к дорогой мебели), он надевал очки, — с некоторых пор они уже требовались ему при чтении. Стеклами и массивной оправой скрадывались темные полукружья под глазами — след многолетнего недосыпания. Его точеное, будто вылепленное скульптором античности лицо, — столь безупречно правильны были все черты, за исключением, пожалуй, лишь верхней губы, несколько впалой, коротковатой, — склонялось над столбцами цифр. Маленькая белая, чуть с желтизной рука, вооруженная карандашом, порой быстро подчеркивала ту или иную цифру. Худощавые пальцы чуть тряслись. Нет, это не была старческая дрожь, — ему исполнилось лишь пятьдесят четыре года, отдельные седые ворсинки терялись в его каштановых волосах, разделенных надвое пролегавшим

слева, всегда безукоризненно прямым, будто выведенным по линеечке, пробором. Неотвязная тряска пальцев преследует его уже несколько лет. В спокойные часы дрожь почти незаметна, она усиливается, когда Александр Леонтьевич раздражен.

Медицина не сумела излечить эту странную болезнь. Впрочем, он всегда пренебрегал медициной, предписаниями врачей. Дрожат пальцы — и чёрт с ними. Не обращать внимания. Тем более, что подергивание пальцев ни в малой степени не отразилось на его великолепном каллиграфическом почерке, выработанном ещё в отрочестве, когда с пятого класса коммерческого училища он сумел найти грошёвый заработок в переписывании бумаг. Вот и сейчас все его пометки совершенно четки, каждая возникающая из-под карандаша чёрточка тверда. Карандаш Онисимова тоже памятен его подчиненным, неизменно самый жесткий, отточенный, как пика.

Левая рука время от времени тянулась к постоянно лежавшей на столе коробке сигарет «Друг» с оттиснутой на крышке мордой пса. Не отрывая взгляда от машинописных строк, Онисимов чиркал спичкой, с привычной жадностью затягивался. Он впервые закурил уже немолодым, в 1938 году, в дни, когда решалась его участь. Закурил — и с тех пор не мог отвыкнуть.

Непогашенный окурок еще дымится в пепельнице, а Онисимов уже зажигает следующую сигарету. Верный своему стилю — стилю управления, что отшлифован десятилетиями, — Онисимов отнюдь не ограничивается изучением бумаг. Знакомясь со сводками, он то и дело поворачивается к телефонному столику, звонит по *вертушке*, — этим словечком именуются телефоны особой правительственной сети, — соединяется с министрами, с начальниками главков, требует ответа: почему пала выплавка на таком-то заводе, почему не выполнен в срок заказ номер такой-то, из-за чего продол-

жается непопадание в анализ новой марки стали? Не довольствуясь объяснениями из министерских кабинетов, следуя правилу ничего не брать на веру, он неторопливо нажимал кнопку звонка, приказывал явившемуся мгновенно секретарю связать его, Онисимова, с заводом, вызвать к телефону директора или начальника цеха, а порой даже мастера. У них, заводских людей, Онисимов перепроверяет услышанные по вертушке объяснения. Знать дело до последней мелочи, знать дело лучше всех, не доверять ни слову, ни бумаге, — таков был его девиз. Держать *аппарат* в напряжении — так он сам определял свою задачу.

С суточными сводками покончено. Просмотрены и телеграммы. В раскрытом, большого формата блокноте с черным грифом на каждом листе «Председатель Государственного Комитета по делам металлургии и топлива Совета Министров СССР» сделано несколько записей, — этими вопросами Онисимов в течение дня еще будет заниматься. Из стола он вынимает папку с материалами о внедрении автоматики в металлургию. Вскоре он погрузится — в который уже раз! — в изучение графиков поставки оборудования, графиков монтажа, пуска, освоения, — опять будет звонить, вникать в каждую мелочь, нажимать на Госплан, на машиностроительные министерства, вызывать своих помощников, давать им поручения.

На круглом столе, что стоит у стены рядом с книжным шкафом, заполненным томами Технической энциклопедии, толстыми справочниками по черной и цветной металлургии, минеральному топливу, химии, геологии, аккуратно сложена пачка газет. «Правду» Онисимов прочитал внимательно дома, — прочитал, задымив первой сигаретой, — «Известия» и «Комсомолку» просматривал в машине, когда ехал на работу. В служебном кабинете его ждали другие московские газеты. Здесь же на круглом столе высилась пачка ежедневной прессы промышленных районов: газеты Донбасса, Днепро-

петровщины, Урала, Закавказья, крупнейших индустриальных центров Сибири и Дальнего Востока. Вся эта местная печать уже проработана секретариатом, подготовлена для Онисимова, — цветными карандашами отмечено всё, что может его заинтересовать. Рядом лежат реферативные журналы Академии Наук и присланные Институтом информации переводы статей из иностранных технических журналов (Онисимов владеет лишь английским). Сюда же кладутся новинки «Металлургиздата» и «Углеиздата». Ни одна книга, ни один журнал не убираются с круглого стола, пока это не сделает сам Онисимов.

Покинув свое кресло, он по безукоризненно навощенному паркету, не прикрытому ковром, — Онисимов не жалует ковры, считая их предметом роскоши, — идет к этому столику. Красивая голова Онисимова очень крупна, — крупна даже при его немалом, выше среднего, росте. Шея, однако, недостаточно длинна. Из-за этого кажется, что он словно бы в вечной опаске вобрал голову в плечи. Порой, когда он сидит, его можно при́нять за горбуна. Нет, он идет не горбясь. Его шаг энергичен, хотя несколько тяжеловат. Не дойдя, Онисимов вдруг приостанавливается. Поникла большая его голова. Уже раз-другой случалось, что тот или иной секретарь, открыв невзначай дверь, заставал Онисимова в этакой позе, — застывшего посреди кабинета, куда-то унесшегося мыслями. По должности Онисимов обязан заниматься и перспективами, завтрашним днем индустрии, но думы тянут в прошлое. Картины прошлого, невесть как пришедшие на память, порой несвязные, всё чаще завладевают им.

Так он и стоит, — одетый в неизменно темный, в полоску, костюм, в свежую белую сорочку со всегда накрахмаленным твердым воротничком, с темным скромным галстуком. Однажды сын Андрюша, начитавшись Диккенса, ему сказал: «Папа, ты одет, как английский клерк».

Печальный взгляд зеленоватых глаз устремлен на круглый стол. К чему теперь всё это Онисимову? Вот эти книги — «Бурение скважин», «Магнитное обогащение», «Трубосварочные станы»? Или вот этот новый номер «Угля»? Не сегодня, так завтра он распростится с углём и со сталью, оставит этот пост, этот кабинет.

Усилием воли Онисимов стряхивает оцепенение, присаживается, надевает очки, придвигает газеты, включается в работу.

Его сотрудники поражены. Онисимов руководит с прежним напором, с прежней остротой. Он проводит, как и раньше, совещания, добирается, докапывается до мельчайших подробностей дела, по-прежнему требователен, резок, ничуть не утрачивает (прибегнем опять к словарю времени) *оперативности*, знакомится со всей специальной литературой, подготовляет наметки семилетнего плана, досконально проверяя обоснование каждой цифры, словно ему предстоит еще годы возглавлять топливную промышленность и металлургию.

...Мелькали дни, сменялись месяцы, зеленоглазый, всегда свежевыбритый, подтянутый, строгий человек, председатель Комитета, продолжал работать, источать волю, энергию, держать аппарат под напряжением.

Лишь поздней осенью, незадолго до 39-й годовщины Октября, он, Онисимов, получил давно ожидаемый пакет. Ножницами вскрыв конверт, он прочел бумагу. Да, как он и предполагал, просьба, с которой он, инженер-прокатчик, обратился в Центральный Комитет, — просьба предоставить любую работу по специальности, — не принята во внимание. С этой минуты он поступил в распоряжение Министерства иностранных дел.

Теперь следовало проверить всё ли будет оставлено в ажуре тут, в кабинете, куда он уже не вернется. Выполнить последние служебные обязанности, последний долг. И он еще занимается некоторыми важнейшими

делами, звонит по вертушке, допытывается, выясняет, подхлестывает, распоряжается.

Потом минуту-другую молча курит. И снова берется за телефонную трубку. Необходимо доложить, так сказать, по инстанции, что он сдает пульт управления.

Онисимов соединяется по вертушке с заместителем Председателя Совета Министров Тевосяном, который наряду с другими своими обязанностями курировал и несколько государственных Комитетов.

«Иван Федорович, решение получил. И подбил итоги. Позволь откозырять.»

Давние товарищи, они разговаривали на 'ты'. Тевосян сказал:

«Добро. Когда думаешь явиться к дипломатическому своему начальству?»

«Сегодня же, если не возражаешь.»

«Зачем же сегодня? К чему уж так спешить? Но вообще-то правильно делаешь, что не задерживаешься.»

В этих спокойно произнесенных словах Онисимов улавливает не только совет дружески расположенного старшего товарища, но и *указание*. Далее Тевосян говорит:

«Наверное до твоего отъезда повстречаемся. Позванивай, не забывай.»

Вот разговор и закончен. Онисимов еще раз оглядывает письменный стол, кабинет. Ну, кажется, хватит: можно ставить точку. Все дела, которые примет на ходу заместитель, — и текущие, и перспективные, — ясны. Есть, правда, еще одно, — отнюдь не самое важное, не принадлежащее к тем, что записаны в правительственных директивах, но для Онисимова все-таки особенное. Опять без спроса вторгается картинка прошлого. Онисимову видится загорелое горбоносое лицо Петра Головни, или, как его еще зовут, Головни-младшего. Складка губ упряма, под скулой ходит желвак, — таким он, Головня-младший, директор завода имени Курако, выглядел в ту памятную июльскую ночь 1952 года,

когда дерзнул на заседании обличить Онисимова. И Онисимов был вынужден... Да, именно вынужден. Впрочем, к чему вспоминать? Не однажды он уже замечал за собой этакое: всплывают, — и вовсе некстати, — сдвинутые брови, безбоязненный упрямый взгляд, тяжеловатая нижняя челюсть Петра Головни. Что поделаешь, у Онисимова есть свои, от всех скрытые, обязательства совести.

Однако сейчас Онисимов, пожалуй, уже не имеет права использовать свою власть главы Комитета. Несколько мгновений он колеблется. Затем опять снимает трубку, звонит министру тяжелого машиностроения, расспрашивает, как идет изготовление мощной воздуходувки для завода имени Курако. Заказ министру известен. Известен и Головня-младший, запросивший такого рода внесерийную, необычайно могучую и вместе с тем малогабаритную машину, которая встала бы по месту в тесноте старой Кураковки. Председатель Комитета тотчас получает требуемую справку: заказ выполняется по графику, примерно, через месяц начнется монтаж, затем испытания.

«Последи, пожалуйста, сам за этим делом», говорит министру Онисимов. «Вовремя закончи, отгрузи. Пошли лучших монтажников.»

«Есть, записываю. Будьте спокойны, Александр Леонтьевич.»

«Не подведи. Для меня это дело чести. Мне, возможно, скоро придется уехать...»

Собеседник принимает эту весть без удивления, ограничивается кратким:

«Угу...»

Знает, наверное, об его отъезде в тихую, чистенькую страну. Онисимов продолжает:

«Постарайся по всем статьям попасть в анализ. Качество, сроки и всё прочее. Отнесись к этому, как к личной моей просьбе.»

«Есть. Ставлю три восклицательных знака.»

Это был, если не ошибаемся, последний телефонный разговор, который Онисимов вёл из своего, верней, уже из бывшего своего кабинета.

Затем он нажал кнопку звонка. На вызов вошел, — как всегда, почти бесшумно, — заведующий секретариатом Серебрянников. Худощавый, низенький, он остановился у стола, чуть склонив наголо бритую, рано полысевшую голову. Его связывал с Онисимовым почти двадцатилетний путь секретаря, вместе с Онисимовым он перебрался сюда, в здание Совета Министров, давно научился схватывать на лету, угадывать, в чем нуждается его начальник, умел незаметно подсказать тот или иной ход, отлично составлял самые важные бумаги, был безукоризненным помощником.

Онисимов встал:

«Разрешите представиться. Советский посол в Тишляндии.»

Он мог шутить даже в эту минуту, — окрестил Тишляндией страну, куда ему надлежало ехать. Тотчас он выговорил и её точное наименование. Мы, однако, позволим себе воспользоваться его находчивостью, так и закрепим за этим государством условное обозначение — Тишляндия.

По своей манере Онисимов сразу же перешел к делу:

«Садись. Я бы хотел, чтобы на первых порах ты мне помог. Поедешь со мной?»

Серебрянников не сел. Его голубые, слегка на выкате глаза были скромно потуплены. Поза оставалась попрежнему почтительной.

Проницательность не изменила Онисимову. Он всё понял мгновенно.

«Предпочитаешь во благовремении расстаться?»

«Я думаю, Александр Леонтьевич, что...»

«Что будешь мне более полезен, если останешься в Москве?»

Да, Серебрянников собирался развить именно такую мысль, подготовил именно этот предлог. Впрочем, предлог ли? Бритоголовый заведующий секретариатом в самом деле полагал, что... Ну, как бы сказать? Конечно, пришла пора преобразований. Всё понятно. Но, кто знает... Обстоятельства еще могут всяко повернуться. И Онисимов, смещенный под горячую руку, глядишь, возвратится в тяжелую промышленность. А пока... Пока он, Михаил Борисович Серебрянников, останется здесь, как преданный Онисимову человек. При случае будет слать Онисимову письма в эту самую, как тот пошутил, Тишляндию. И исполнять здесь поручения, просьбы бывшего главы Комитета. Ну, а если дела сложатся иначе, если Онисимову не суждено более работать в индустрии, — что же, Серебрянников будет чист перед совестью, перед людьми и перед ним, Александром Леонтьевичем.

Разгадав с полуфразы эту непроизнесенную благопристойную речь, Онисимов сразу отбросил её. Его бритая верхняя губа приподнялась, обнажив крепкие белые зубы. Подчиненным Онисимова был хорошо известен этот его грозный оскал. В такие минуты Онисимов наотмашь бил беспощадными словами. Рывком взяв сигарету, он зажег спичку. Она плясала в его пальцах. Так и не сумев закурить, он отбросил догоревшую спичку. И сдержал себя.

«Ступай. И пришли мне две общих тетради. Больше ничего мне от тебя не надо.»

Александр Леонтьевич обедает.

Тускловатый свет московской улицы проникает в широкие окна, окаймленные двойными занавесями, — тяжелыми, красноватыми, свисающими вдоль косяков, и белыми шелковыми, что подтянуты к фрамуге. Длинный обеденный стол, вокруг которого разместились двенадцать стульев в полотнянных чехлах, покрыт бе-

лоснежной скатертью. Лоснится паркет, поблескивают стекло и полировка буфета.

В убранстве столовой не найдешь ни одной индивидуальной, особенной приметы. Онисимов равнодушен к житейским удобствам, к своей многокомнатной квартире. Это безразличие делит с ним и жена,Елена Андреевна, занимающая не малый пост в Управлении подготовки трудовых резервов СССР.

Хозяева не обставляли квартиру, попросту распорядились купить мебель, её расположили чьи-то чужие руки. В гостиную, что находится рядом со столовой, неделями не заходит никто из членов семьи. Там так и высится пианино в полотнянном чехле и кресла под такими же чехлами. Красивые цветочные вазы не оживлены цветами, из года в год стоят пустые. Дети, иногда забегающие к сыну Онисимова Андрюше, не резвятся, притихают в этой квартире. Сюда не приходят гости.

Впрочем, в последние три-четыре года здесь побывали несколько старых, давних товарищей Александра Леонтьевича. Они значились в минувшие времена *репрессированными*, а ныне, после смерти Сталина, — вон на стене висит в золоченой раме его писанный маслом портрет со звездами генералиссимуса на погонах, — покидали лагеря, огражденные колючей проволокой, возвращались из тюрем, из ссылок. Сам Онисимов не испил из этой чаши, полоса репрессий, которая вот-вот, казалось, настигнет и его, всё же прошла мимо.

Порой тот или иной воскресший товарищ звонил Александру Леонтьевичу. Вымуштрованный секретариат Онисимова строго придерживался правила: если кто-либо, желавший говорить с Онисимовым, скажет о себе 'его старый товарищ' или 'по личному делу', тотчас же докладывать. Однажды Серебрянникову изрядно влетело за то, что в подобном случае он предпочел не отвлекать Онисимова, ведшего совещание в своем кабинете, и лишь позже сообщил о звонке.

Правда, звонки такого рода были редки. Отрываясь от любого дела, Онисимов брал трубку. Он радушно здоровался, тепло расспрашивал, — самый чуткий, обостренный страданиями, унижениями слух не мог бы уловить в его повадке, в его тоне малейшую нотку сановности, — листая свой календарь, выкраивал вечерок, назначал свидание у себя дома. Он за полночь просиживал с пришедшим, вспоминая то, что довелось вместе пережить, перебирая погибших и живых. И неизменно старался что-то сделать для вернувшегося, помогал устроиться, то есть получить приличное жильё, подходящую работу или пенсию.

Затем опять долгими вечерами и днями большие комнаты этой квартиры пустовали. Дюжина стульев, расставленных вокруг стола, так никогда и не служила веселому, шумному сборищу. Даже в день пятидесятилетия Онисимова не был приглашен ни один гость, в квартире не нарушилась тишина. 'Холодный дом', — так, опять же по Диккенсу, высказался однажды Андрейка. Отца он про себя именует 'великим молчальником'.

По воскресеньям в столовой за завтраком и обедом сходится семья, но общего разговора не завязывается. Порой отец пошутит. Редко-редко он разоткровенничается, о чем-то расскажет, вспомнит что-то вслух.

Сейчас, как обычно, Онисимов ест в одиночестве. Жена приезжает обедать позднее, он — ровно в половине второго. Прошли времена ночных изнурительных бдений, когда в министерствах и комитетах засиживались до четырех-пяти утра, — так работал томимый бессонницей Сталин, по распорядку его дня равнялся правительственный аппарат. Онисимов обедал тогда по вечерам, а то (домашние помнят эту его шутку), а то и, подобно королю Фридриху Великому, на другой день. Ныне особым указом, опубликованным во всех газетах, запрещено задерживаться на службе сверх восьмичасового срока. Подчиняясь, как всегда, дисциплине, Онисимов

все же последний выходил из Комитета. Досужие вечера были ему невмоготу, он захватывал с работы объемистую папку, набитую бумагами, и погружался в неё дома.

Сегодня он не принесет эту папку. Нынче он провел в Комитете свой последний день, попрощался со служащими. Дела принял заместитель, никто внове не назначен главой Комитета. Это, несомненно, еще один признак надвигающейся перестройки. Ее, эту ожидаемую перестройку управления промышленностью, уже называют *революционной ломкой*. Особая комиссия занята разработкой предложений. Онисимов не был введен в эту комиссию. И вот теперь... Теперь его вовсе убрали из промышленности. Почему же? Почему?

Он вспоминает о стынущей перед ним тарелке супа. В руке, следуя тряске пальцев, пляшет ложка, которую он несет ко рту. Всегда умеренный в еде, лишенный каких-либо качеств гурмана, Онисимов проглатывает суп, не ощущая вкуса.

В сторонке стоит, посматривает на хозяина домашняя работница Варя, в белом, без пятнышка, фартуке, в белой косынке. Варя привыкла, что в будни Онисимов всегда ест торопливо. По утрам уже слышится его нетерпеливое:

«Скорее, скорее, я опаздываю.»

После обеда, как правило, он ложится на пятнадцать минут. Варя обязана ровно через четверть часа, минута в минуту, постучать ему в дверь. Вечерами он иногда приезжает лишь переодеться, чтобы укатить на какой-нибудь прием. И опять же спешит. Однако в этой спешке никогда не оставит неприбранным снятый костюм, обязательно повесит в шкаф. Варя не назвала бы Онисимова молчальником. Он научил ее приготовлять кофе, заваривать крепчайший чай. Возвращаясь с работы, обычно он скажет ей несколько приветливых слов.

Сегодня он обедает медлительно. Хлебнет несколько ложек и задумается... Варе он уже сказал, что больше

не требуется следить по часам за его отдыхом, стучать в дверь кабинета. И пошутил:

«Скоро поеду отдыхать в одно царство-государство.»

Да, с нынешнего дня он уже не занимается промышленностью. Он не нужен — не нужен тяжелой индустрии, любимому делу. Завтра с утра он перейдет работать в Министерство иностранных дел, будет готовиться к отъезду, к своей новой миссии. А нынче он свободен, непривычно свободен. Почему же? Как могло это случиться?

Да, он высказал мнение, что необходимо соблюсти осторожность, постепенность в реорганизации промышленностью, не прибегать к ломке. Да, он защищал целесообразность существования своего Комитета и подведомственных министерств, привел ряд доводов на заседании комиссии ЦК. Его выступление, в котором, по своей манере, он ограничился лишь сугубо деловыми соображениями, было встречено молчанием. Но ведь там происходило лишь самое предварительное обсуждение. Любое решение, — кто в этом может усомниться? — он принял бы как дисциплинированный, верный член партии. Почему же, почему же его убрали из промышленности?

Варя приносит второе. Она видит: он очень бледен. Румянца он, впрочем, словно никогда и не знавал, не розовел даже на морозе, но сейчас обычная с легкой примесью живой коричневатости, его бледность сменилась землистым оттенком. Что с ним? Онисимов ощущает неприятную сухость во рту. Красивого разреза, большие, с желтизной в белках, глаза отыскивают графин с водой на буфетной стойке. Замашки барина ненавистны Онисимову. Он никогда дома не скажет 'принесите мне', 'подайте мне', сам встанет и возьмет. Так встает он и теперь. Делает шаг-другой к буфету.

Перед ним вдруг все темнеет, ему недостает воздуха, рука судорожно тянется к накрахмаленному воротнич-

ку, он пытается удержаться на ногах, хватается за стул и, роняя его, тяжело оседает на паркет.

Полчаса спустя у Онисимова в его домашнем кабинете уже сидели врачи. Антонина Ивановна Хижняк — опытная, седоватая, громоголосая женщина-врач. Когда-то она носила военную форму, провела годы минувшей войны во фронтовых госпиталях и лишь затем стала работать в лечебнице Совета министров, именуемой запросто Кремлёвкой.

В течение последних шести или семи лет Антонина Ивановна занимается здоровьем Онисимова. Это трудный пациент. Каждую жалобу из него приходится вытягивать, что называется, клещами. Когда его спрашиваешь: 'Что у вас болит?', он с улыбкой отвечает: 'Ничего'. Вызвать его в поликлинику на профессорский осмотр — предприятие совершенно безнадежное. Антонина Ивановна сама приходила к Онисимову, подстерегала его в обеденный час. Онисимов встречал ее, как добрую знакомую, держался без малейшей важности, — чего греха таить, в иных квартирах этого огромного жилого здания у Москва-реки, заселенного по преимуществу высшим служилым составом разных центральных учреждений, её, старого военного врача, порой коробило обращение свысока, — был живым, умным собеседником, вел речь о чем угодно, только не о своих недомоганиях. В кругу металлургов, так или иначе общавшихся с Онисимовым, издавна считалось, что у него железный организм. Он и доселе славится физической неутомимостью. Однако Антонина Ивановна знает, что эта его слава далека от истины.

Однажды ей все же удалось показать Онисимова известному профессору, создателю и руководителю института терапии Николаю Ивановичу Соловьеву. Общительный, подвижной, в галстуке бабочкой, с венчиком седых кудрей вокруг блестящей лысины, похожий скорее на художника или режиссера, чем на медика, он

долго выспрашивал, осматривал Онисимова. И наконец сказал:

«У вас сосуды и сердце семидесятилетнего старика.»

Настоятельно указав ему на необходимость изменения режима, он добавил:

«А самое главное, избегайте ошибок.»

«Каких ошибок?»

Профессор объяснил, что термин 'ошибка' введен Павловым. Великий русский физиолог, как понял Онисимов, разъяснил явление, которое назвал ошибкой двух противоположных импульсов-приказов, идущих из коры головного мозга. Внутреннее побуждение приказывает вам поступить так, вы, однако, заставляете делать себя нечто противоположное. Это в обыденной жизни случается с каждым, но иногда такое столкновение приобретает необычайную силу. И возникает болезнь. Даже ряд болезней. К слову, Николай Иванович рассказал о некой, специального типа, кибернетической машине. Получая два противоположных приказа, машина 'заболевала': её сотрясала дрожь. «Возможно танец ваших пальцев, Александр Леонтьевич, имеет такое же происхождение.»

Молча подивившись прозорливости седокудрого профессора, Онисимов, однако, с ним не разоткровенничался. Впрочем, откровенных разговоров он, смолоду замкнутый, давно-давно не вел, умел зажать, затаить переживания.

Встреча с профессором ничего не изменила в обиходе, в распорядке жизни Онисимова. Антонина Ивановна много раз настаивала, чтобы он бросил курить. Онисимов отвечал: «Да, да...» А в следующее посещение она опять видела красную коробочку сигарет на его столе и окурки в пепельнице. Впрочем, визит Николая Ивановича не прошел совсем без следа: в домашнем кабинете Онисимова на книжной полке появился труд Соловьева «Общая терапия» и толстенный «Терапевтический спра-

вочник». Раскрывал ли их когда-нибудь Онисимов, Антонина Ивановна не знала.

Порой она заглядывала в домашнюю аптечку Онисимовых, находила там лекарства, которые давно выписала Онисимову, — они покоились нетронутыми. В ответ на укоризненный взгляд, Онисимов виновато улыбался, — среди множества выражений, что могли проступать в его улыбке, бывало иногда этакое — мягкое, обезоруживающее.

Вот и сейчас он сидит перед врачом на диване, жестком, неудобном, купленном словно для учреждения, — сидит, расстегнув рубаху, оголив белую, подёрнутую слоем жирка грудь, и любезно, спокойно улыбается, будто не он только что свалился в обмороке.

«Ничего страшного, Антонина Ивановна», произносит он. «Подвернулась нога, оступился, неудачно стукнулся...»

В подтверждение он потирает синяк на лбу.

«Нога?» недоверчиво спрашивает Антонина Ивановна. «Что ж, посмотрим ваши ноги.»

Онисимов снимает свои безукоризненно начищенные, теплые, на меху, ботинки, — с некоторых пор он плохо переносит холод, — снимает носки, обнажает стопу и голень. Ступни, как и кисти рук, тоже маленькие, почти женские. Уже несколько лет он страдает онемением нижней части ног, в артериях не прощупывается пульс, — это заболевание сосудов называется эндертриит. Происхождение его еще не выяснено медициной, нередко это страдание связано с неумеренным курением. Онисимову трудно ходить, — пошагает десяток минут и вынужден остановиться, — трудно подолгу стоять. Антонина Ивановна с неумолимой настойчивостью дважды заставила Онисимова пройти курс лечения. Месяцами изо дня в день, по утрам ему накладывали повязки со специальными мазями, он так и уезжал на работу, где, однако, никто и не подозревал, что у него забинтованы ноги.

Он забросил лечение, откинул бинты, когда обнаружилось, что завод «Электрометалл» не справляется с заданием правительства: выплавить особую жаростойкую сталь для реактивных двигателей. Отложив все другие дела, Онисимов поехал на завод. Там, переминаясь с ноги на ногу, не разрешив себе даже чувствовать боль, он, председатель Комитета, инженер-прокатчик, часами простаивал на рабочей площадке печи, следя от начала до конца за ходом очередной плавки. Каждый вечер он проводил *оперативки*, учинял перекрёстные допросы, докапываясь до сути, до некоего ускользающего икса. И спустя три недели вернулся в Москву с рапортом: исполнена задача, поставленная свыше, получена, льется из печи, еще небывалая жароупорная сталь. Но свою фамилию вычеркнул из списка тех, кто был представлен министерством к государственной премии за эту работу.

Нетерпимо пресекая попытки подчиненных ему крупных начальствующих лиц, — от министров и до директоров, — как-либо не по праву пристроиться, примазаться (Онисимов в таких случаях не стеснялся в выражениях) к открытиям, изобретениям, усовершенствованиям, которые выдвигались на премию, он не позволял и себе стать лауреатом, хотя по общему признанию — тут этого заслуживал. За ним знавали изречение: 'Уж если ты служака, то будь Служакой с большой буквы'.

Антонина Ивановна лишь покачала бы головой, если бы кто-нибудь решился предсказать, что ее подопечный без пульса в ногах способен простоять хотя бы полсмены у печи. Она и теперь не понимает, как он мог стоять целыми днями.

В стопе по-прежнему не прощупывается пульс. Суставы с трудом гнутся. Она все же их сгибает. Онисимов не покряхтывает, не морщится, будто ему вовсе не больно. Нет, это не железный, совсем не железный организм. Но человек, несомненно, железный.

На большом пальце ноги, — тоже изящном, продолговатом, — когда-то был вырезан кусок ногтя. Антонина Ивановна помнит, как переносил Онисимов эту очень болезненную операцию — удаление вросшего ногтя. Под ножом он вел себя, как каменный. На ногу была уже наложена повязка, боль усиливалась, ибо анестезирующее средство постепенно переставало оказывать свое действие. Держа руку Онисимова, она ощущала его напряжение, пробегающий трепет скрываемой боли. Спросила его:

«Ну, как?»

«Больно было.»

«А сейчас?»

«Ничего...»

Из операционной он отправился прямо на работу.

И теперь, конечно, от него не добьешься жалобы. Несколько мужеподобная, обычно шумная, она умеет поднять настроение больного. Однако требуется ли это сейчас?

«Вам надо серьезно отдохнуть.»

Признаться, она не уверена в своем предложении. Хронический бронхит курильщика, постоянные хрипы, привычный, порой натужный кашель, — все это на отдыхе, под солнцем юга, у моря, где Онисимов любил провести отпуск, усугублялось то воспалением легких, то ангиной. Казалось, болезни, которые еще как бы не тронули, не осмеливались тронуть Онисимова, держались на почтительном расстоянии, когда его дни были отданы работе, вдруг набрасывались, как только он сменял рабочий режим на отдых.

«Э», отвечает Онисимов, «отдохну в своей Тишляндии.» Впервые у него вырвалось 'своей'. Он тут же прокашливается, чтобы скрыть нотку горечи. Неожиданно кашель становится сильным, мучительным и сухим, сотрясает оголенную грудь. Затем приступ утихает.

«Курение вы обязаны бросить», говорит Антонина Ивановна.

Её тон категоричен. Он усмехается:
«Приеду когда-нибудь в Москву и доложу вам: 'Вот, дражайшая Антонина Ивановна, я не курю!'»
«Александр Леонтьевич, в таком виде я вас не отпущу. Надо, наконец, обследоваться.»
«Ничего. Поеду.»
«Я не могу взять на себя ответственность. Назначим консилиум.»
Он отрезает:
«Никаких обследований, никаких консилиумов.»
«В таком случае я лично напишу, что по состоянию здоровья вам уезжать нельзя.»
«Не смеете!» — кричит Онисимов.
За ним водится этот грозный повелительный крик. Онисимов, как мы упомянули, уже и сам обращался *наверх*, просил дать любую работу по специальности, но получил отказ. Значит, он обязан ехать. Еще никогда — с тех пор, как в шестнадцать лет стал членом партии — он не пытался уклониться, ускользнуть от исполнения партийных и государственных решений. Не сделает этого он и теперь.
«Если напишете», продолжает он, «я вас подведу. Заявлю, что не подтверждаю ваших врачебных заключений. И выкручивайтесь, как знаете. Думаю, лучше, милый доктор, нам с вами не ссориться.»
И он снова улыбается, — теперь с привычной саркастичностью. Ну, что с ним делать? Как поступить врачу?
«Александр Леонтьевич, полежите день, другой. Я вас понаблюдаю.»
Онисимов охотно идет на мировую.
«Хорошо, сегодня полежу.»
Антонина Ивановна вновь обретает свою командирскую громогласную повадку.
«Извольте лечь в постель при мне.»
«С вашего разрешения — я прилягу здесь.»
Что же, здесь, возможно, ему будет лучше. Серьёзная,

грубовато скроенная врачевательница с неудовольствием вспоминает спальню Онисимовых. В середине комнаты расположились две широкие кровати, составленные вместе. По бокам две тумбочки. У стен два платяных шкафа. И всё. Как в гостинице.

Пожалуй, лишь в этом продымленном кабинете можно ощутить некий личный отпечаток. Высятся полки, где выстроились книги по специальности, текущая политическая литература, сочинения Ленина, сочинения Сталина, так и не завершенные изданием, оборванные на тридцатом томе его смертью. В простенке висит скромно окантованная фотография Сталина и Орджоникидзе, оба еще молодые, оба в шинелях, оба с черными заостренными усами. Онисимов когда-то сам отдавал увеличивать этот снимок, сам нашел для него место.

К дивану приставлен круглый столик. На нем рядом с пачкой сигарет и настольной лампой чернеет телефон-вертушка, несколько отличающийся плавными формами от обычных аппаратов. Тут же под рукой лежат и две книги-новинки по истории советской промышленности, — в последнее время Онисимов особенно интересовался этой темой.

Врач соглашается: пусть Онисимов полежит в кабинете.

«Но сначала, Александр Леонтьевич, надо основательно проветрить. Свежего воздуха, пожалуйста, не бойтесь!»

Антонина Ивановна встает, чтобы растворить форточку. Нет, он не позволит ей затрудняться этим. Живо поднявшись, Онисимов босиком шагает к форточке. И внезапно бледнеет, тьма застилает зрение, он замирает, тяжело опирается на стол. Несколько мгновений он отсутствует, взгляд мертвенно неподвижен. Затем усилием воли Онисимов все же возвращается к действительности, погасшие глаза обретают блеск. Врач встревоженно смотрит на него.

«Вы же при мне только что потеряли сознание.»

«Что вы, ничего подобного.»

Он опять улыбается насмешливо. И словно говорит: 'Ну-ка, что ты со мной сделаешь?' Да, ничего сделать нельзя.

Антонина Ивановна наблюдает, как Варя стелит на диване, как Онисимов устраивается на этом неудобном, жёстком ложе. Вот выписаны и лекарства. С нелегким сердцем, с неспокойной совестью Антонина Ивановна прощается до завтра.

Она медленно идет через гостиную. Окна уже спрятаны под двойными занавесями, в полсвета горит люстра, неярко освещая полотнянные чехлы на мебели, фигурные пустые вазы. Обширная пустая комната кажется пыльной, нежилой. Даже будто пахнет затхлостью.

В прихожей врач неожиданно встречает Елену Андреевну. Жена Онисимова только что вошла, — статная, даже, что называется, дородная, седая, в строгом сером пальто, в шапочке серого каракуля. Антонина Ивановна редко с ней общается, не застает ее дома, когда посещает Онисимова. Порой женщины разговаривают по телефону. На вопрос о здоровье, самочувствии мужа Елена Андреевна обычно отвечает:

«Сейчас пойду узнаю.»

Странный ответ. Живут под одной крышей, в одной спальне и... 'пойду узнаю'.

Теперь от волнения и спешки Елена Андреевна чуть запыхалась:

«Антонина Ивановна, что с ним?»

Видны ее хорошо сохранившиеся мелкие зубы. Удивительно, что при столь крупном сложении могут быть такие мелкие зубы.

«До крайности истощена нервная система», отвечает врач. «Это отражается на всём. Сегодня он потерял сознание.»

И словно с кем-то споря, словно стремясь кого-то убедить, Антонина Ивановна упрямо добавляет:

«Даже дважды.»

Серые глаза жены смотрят тревожно. Обе ладони стискивают руку врача.

«Неужели... Неужели так серьезно?»

«Не знаю, у меня нет ясности. Считаю, что ему надо лечь на обследование. Он не согласен. Я сказала: 'Напишу сама, что вы нездоровы'. А он крикнул: 'Не смеете'.»

«Да, этого нельзя.»

Елена Андреевна торопливо снимает пальто, снимает шапочку. На лбу с правого края виднеется большое, с кулачок ребенка, захватившее и часть виска, синевато-розовое родимое пятно. Жена Онисимова могла бы его скрыть ухищрениями причёски, но с юности этого не делала. И, как ни поразительно, мета не выглядит уродливой, даже чем-то гармонирует с постоянно серьезным, чуждым малейших черт кокетливости обликом Елены Андреевны. Она повторяет:

«Нельзя». Мгновение поколебавшись, она, понизив голос, поясняет: «Есть особые обстоятельства, Антонина Ивановна. Это могут расценить, как нежелание ехать.»

Причина сформулирована ясно, откровенно, убедительно. Антонина Ивановна обезоружена. И всё же... Всё же хотелось бы не таких логичных, более жарких, даже несвязных слов. Впрочем, вправе ли кто-либо требовать этого жара? Ведь у Елены Андреевны есть своя жизнь, своя большая деятельность. И примчалась же она сейчас с работы, вошла торопливо, расспрашивала с волнением, чуть ли не со слезой. Антонина Ивановна не решается ее осудить.

«До свидания. Пусть он полежит. Завтра зайду.»

Уже на следующий день, не дав себе хотя бы суток передышки, Онисимов включился в новый круг обязанностей, занял небольшой кабинет в Министерстве иностранных дел. С ним туда же перебрался один из его давних помощников, крутолобый вдумчивый Макеев,

обожавший Онисимова, его острую манеру, пунктуальность, стиль беззаветного, неукоснительного исполнения директив, стиль, что, казалось, был у Онисимова в крови. Отличавшийся некоторой медлительностью, — этим, бывало, вызывавший у Онисимова вспышки раздраженности, которые участились в последние несколько лет, — Макеев с первых же слов, как только Онисимов предложил ему ехать с ним, просиял, согласился.

«Когда же, Александр Леонтьевич, двинемся?»

«Будем ждать команды.»

«Что же мне делать пока?»

«Прежде всего обложись литературой и читай!»

Так поступил и сам Онисимов. Вместо папок с документами, докладными записками, отчетами о добыче нефти и угля, выжиге кокса, применения кислорода и природного газа в металлургических печах, форсированном развитии рудных баз, испытаниях твердого ракетного горючего, — теперь на его письменный стол легли затребованные из архивов подшивки по истории дипломатических, экономических, всяких иных связей России со странами северной Европы. Онисимов неудовлетворился материалами нынешнего века, для него были подняты и архивы прошлого столетия.

Вместо новинок, посвященных тем или иным вопросам развития промышленности, теперь под рукой Онисимова находились книги о стране, где ему предстояло исполнить свою новую миссию. Тысячи, десятки тысяч печатных страниц заполнили его тесноватую служебную комнату, — тоже новую. Кроме русской и переведенной на русский язык литературы, он проглатывал и издания на английском языке, — пройдя некогда два года практики на заводах Глазго и Бирмингема, Онисимов, как уже сказано, свободно читал и говорил по-английски.

Казалось удивительным, почти непостижимым, как человек в столь короткий срок, в три-четыре недели, еще остававшиеся до отъезда, сможет пропустить через себя, освоить эту бездну материала.

Ничего, он выдюжит. С ним нечто подобное уже бывало. Его когда-то, — это случилось после смерти Серго Орджоникидзе, — перебросили в танковую промышленность, поручили возглавлять эту новую для него отрасль, которую следовало расширить, реконструировать, сделать поистине мощной. Он вот так же мобилизовал специальную литературу, погрузился в нее, зарядил свой неутомимый мозг, умевший легко выжать квинтэссенцию и вместе с тем запечатлевавший, словно на волшебной фотопленке, неисчислимое множество подробностей. Уже месяц спустя он разговаривал, как специалист со знатоком танкового дела. И отнюдь не стеснялся обнаруживать на людях пробелы в своем багаже, расспрашивал, умел слушать, продолжал учиться и учиться, руководил танковым главком.

И когда его вновь вызвали в Кремль, — разве он забудет когда-нибудь этот осенний вечер, этот год, 1938-й, поток арестов, уже вырвавших одного за другим почти всех, с кем работал Серго, — когда Онисимова вызвали в Кремль и он, начальник крупнейшего Главка, кандидат в члены ЦК, избранный на семнадцатом съезде, миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли, сидели люди в форме, отворил дверь и увидел спину Сталина, прохаживающегося в своих мягких сапогах...

Долой, вон из головы эти мысли, эти воспоминания. Неужели он, Онисимов, не справится с собой?.. Неужели не заставит свой испытанный, надежный мозг служить безотказно, как и прежде? Неправда. Внутренние тормоза еще отлично действуют. Легкое усилие воли — и устранены всякие отвлечения. Вновь вниманием Онисимова безраздельно овладевает Тишляндия и ее соседи.

Режим его дня не изменился. Пусть никому не взбредет в голову, что сегодняшний Онисимов уже не тот, не прежний Онисимов. Как и десять, как и двадцать лет назад, он и ныне работал, словно точнейшая машина.

Входил в кабинет ровно в девять утра, неизменно до блеска выбритый, садился в кресло, тоже твердое, как и на предыдущем его поприще, доставал сигареты «Друг», надевал очки и читал, читал.

Для записей-выжимок ему хватило двух общих тетрадей. Мелким каллиграфическим почерком, достойным демонстрирования, — столь ясна, завершена была каждая буква, — он заносил в одну исторические сведения, справки о политических и общественных группировках в северной Европе, о ее выдающихся деятелях.

Другая тетрадь была отдана экономике государств, расположенных в этом углу континента.

Верный правилам, что издавна стали неотъемлемой чертой школы руководителей, к которой он принадлежал, Онисимов и здесь не удовлетворился лишь бумагой, документами, книгами, статьями. Он приглашал к себе в свою временную служебную обитель, затерявшуюся в коридорах МИДа, ученых, чьей специальностью являлась страна его будущего аккредитования, а также попросту наблюдателей, умных милых людей, недавно побывавших там. Допытывался, входил в разные тонкости, вытягивал, выкачивал знания о земле, куда ему предстояло вступить.

Случались минуты, когда он с тайным удовлетворением отмечал, что память, его необыкновенная память, которая в последние годы стала как будто немного сдавать, опять превосходно ему служит. Да, разбуди его ночью, спроси о чистенькой, чинной стране — и мгновенно всплывут сотни имен и названий, точные цифры и даты.

После служебного дня Онисимов забирал книги домой и снова работал, не позволяя себе предаваться отвлекающим навязчивым мыслям. Ложился он поздно, в четвертом часу утра, уже не пытаясь разделаться с этой застарелой привычкой. Ложился, но подолгу не засыпал. В темноте выползали, забирали волю, думы, которые днем удавалось отогнать.

Однажды в бессонный предутренний час Онисимов испытал ужас.

Было так. Глядя сквозь полуопущенные веки во мглу спальни, Онисимов лежал, томимый неотвязными мыслями о том, как могло случиться, что он вынужден оставить страстно любимое дело. Захотелось опять их отмести. Довольно мучить себя этим. Для таких размышлений у него, — он иронически усмехнулся в темноте, — у него, наверное, хватит досуга в Тишляндии. Он велел себе думать о ней, решил наизусть восстановить строки, которые днем занес в свои тетради. И вдруг память отказала. В уме не возникло, не всплыло ровным счетом ничего. Куда-то канули не только вчерашние или позавчерашние заметки, он забыл, начисто забыл даты, имена, экономические показания, всё, всё, что вычитал, узнал об изучаемых им странах.

Страшный провал памяти потряс Онисимова. Рукой он провел по вдруг увлажнившимся жестким волосам. Надо успокоиться, уцепиться хоть за что-нибудь, за одну какую-нибудь ниточку. Удалось воспроизвести самое близкое: цифры выплавки черного металла на заводах Тишляндии. Ну, а дальше? Он ожидал, что всё выпавшее возвратится в один миг, как при взблеске молнии. Нет, он лишь медленно, медленно всё припоминал.

И не выдержал, вскочил. Ровное дыхание жены доносилось с широкой соседней кровати. Босой, он неслышно пошел в кабинет, повернул там выключатель, бросился к письменному столу, к своим тетрадям, пляшущими пальцами раскрыл страницу наугад. И только тут страшные минуты кончились. Явилось желанное, мгновенное прозрение. Теперь он мог не смотреть в записи, они ему разом предстали, опять будто оттиснутые на чудесной фотопленке. Закурив, он еще листал, листал, проверял, экзаменуя себя. Потом замер у стола.

Так Онисимов и стоял, — босой, в белом ночном одеянии.

Незастёгнутый ворот рубашки открывал грудь, подер-

нутую чуть приметной нездоровой желтизной. Большая голова была, как всегда, втиснута в плечи.

Что же с ним только что стряслось? Чем объяснить эту внезапную утрату памяти? Неужели ему столь неинтересна его новая работа?

Неужели, исполняя долг, он лишь насилует себя? Где же его страсть, всегда отдаваемая делу?

Ведь назначенный когда-то начальником танкового главка, брошенный в промышленность, ему ранее не знакомую, сумел же он увлечься, отмести угнетение.

Нет, не отмести, но одолеть. Оно, конечно, гнездилось в душе, изо дня в день возрождалось с каждым новым известием об арестах, о почти еженощных вторжениях в квартиры огромного многокорпусного дома, называемого ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, где обитал и он, тоже готовый вот-вот разделить участь товарищей. Но Онисимова не трогали. Все его заместители в Главном управлении проката — управлении, которым он ведал при жизни Серго, — были арестованы, а он по-прежнему свободно ездил в машине по улицам Москвы на службу и домой.

Свободно ли? Элементарная логика требовала умозаключения: если виноваты его ближайшие сотрудники, якобы вредившие, значит, виновен и он.

И Онисимов бросил судьбе вызов. Обратился с письмом к Сталину, написал, что будучи обязан, как требует партия, знать дело до последних мелочей, он, Онисимов, несет полную ответственность за каждое решение своих подчиненных, ручается головой и партбилетом, что вредительства в Главпрокате не было. И просит дать ему возможность доказать это любому, по усмотрению Сталина, партийному или судебному расследованию. Письмо попало в руки Сталину, — это само по себе было особой, не легкой задачей. Затем Онисимова вызывали на допросы, на очные ставки. Потянулись ночи и дни ожиданий, почти невыносимые. Он в это время стал курить, пристрастился к табаку. И всё же

тогда тоже работал со страстью, с азартом, заглушая угнетение, тоску. А потом...

Потом его вызвали в Кремль.

Уже присев, растирая остывшей подошвой другую ногу, вовсе похолодевшую, он вспоминает этот вечер.

...Миновав прихожую, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме, — почему, почему сегодня здесь столько многочисленной охраны?

Он вошел в небольшой зал, увидел спину Сталина. Прохаживаясь, Сталин не обернулся на звук отворенной и вновь прикрытой двери. Он еще сохранил непритязательную одежду фронтовика, грубоватого солдата, — его военного покроя брюки, заправленные в сапоги, свисали складками на голенища, — но уже приобрел будто нарочито неторопливую повадку, медлительность шага.

Сталин был в зале не один. Там находился еще человек. Вальяжный, что называется мужчина, он сиял круглыми, без оправы, стеклами очков, плавной выпуклостью лба, зачесанными на косой пробор светлыми волосами, маскировавшими раннюю, еще небольшую лысину. Это был Берия. Стоя у длинного стола, одетый в штатское, он посматривал на Онисимова с улыбкой, затаившейся в уголках тонкогубого рта. Онисимов похолодел от такой улыбки.

Много лет назад, этот человек, тогда скромный служащий Бакинского Совета, прошел, что называется, проверку у Онисимова, который, еще оставаясь политработником Одиннадцатой армии, был в то же время и председателем одной из комиссий, занимавшихся перерегистрацией членов партии в Баку. Предваряя вопросы Онисимова, Берия выразил желание перейти на более трудную, более опасную работу в Особый отдел армии или в Азербайджанскую Че-Ка. Пойманный на одном-другом противоречии, на вранье, он изворачивался, выскальзывал. Товарищ Саша, — так в те време-

на называли Онисимова, — пришел к убеждению: 'Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист'. И не выдал ему партбилета. В следующей инстанции тому удалось восстановиться.

И пока что этот блистающий бакинец лишь преуспевал. Встреча со Сталиным в начале тридцатых годов стала решающим рубежом в его фантастической карьере. Сталин несомненно был знатоком людей. Вынашивая замыслы, о которых знал только он один, Сталин своим тонким чутьем, — слово 'проникновенность' тут вряд ли подойдет, — по-видимому, быстро, с первых же встреч, определил: вот человек, который ему нужен.

Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

Что же, всё ясно. Будет последний допрос, что учинит сам Сталин. И не со своим шофером, не в своем автомобиле он, Онисимов, уедет отсюда. Не зря он, нервно собираясь, проверяя, на месте ли партийный билет, удостоверения, пропуск в Кремль, записная книжка, позвонил жене и, не сомневаясь, что телефон подключен еще в некую тайную сеть, лаконически сказал: 'Вызывают. Еду. Будь готова ко всему'.

Наконец, повернувшись, Сталин все той же неспешной походкой зашагал обратно. Тяжеловатый, несколько исподлобья взгляд смерил Онисимова, прошелся по его безупречно начищенным ботинкам, темному в полоску пиджаку, подкрахмаленному белому воротничку, облегавшему его короткую шею, что поддерживала большую голову, уперся в зеленоватые глаза Онисимова.

Онисимов не отвел взора. Сталин продолжал медленно идти. Ничто в ту минуту не изменилось в его неподвижном, словно бы сонном лице, известном по множеству полотен и фотографий, на которых, однако, никто не смел передать крупных рябин, заметных на щеках и под слегка обвисшими, тоже будто тяжелыми, исчер-

на рыжеватыми усами. Отдельные седые нити в поредевших усах и на голове, позволяли видеть, сколь редкостно толстым, — в толщину конского, был его волос. Некоторое время молчание не нарушалось.

«Здравствуйте», негромко молвил Сталин, «Проходите ближе.»

Сесть не предложили.

Еще раз прошагав к стене и назад, он остановился перед Онисимовым, начал спрашивать. Вопросы относились к состоянию и перспективам танковой промышленности. Теперь лицо Сталина уже не было застывшим. Зрачки, еще минуту назад тускловатые, вдруг ожили. Онисимов отвечал. Нервное напряжение сказалось на голосовых связках, он говорил хрипло. Однако эта же взвинченность стала и собранностью, обострила ум. Осипший начальник танкового главка не путался, не запинался, давал точные, уверенные объяснения. Ему не понадобилось прибегать к записной книжке, чтобы характеризовать положение на том или ином заводе, даже в цехе, приводить результаты испытаний в лабораториях, называть цифры. Он раскрывал Сталину трудности, докладывал о ненайденных, не дающихся конструкторам и технологам решениях. А тот еще и еще методично допрашивал, сверлил и сверлил именно эти больные места.

Крепление гусеничного башмака. И проклятые масляные дифференциалы, как истерзали они Онисимова, как измучились с ними на заводах. Измучились, а искомой эффективности все же не достигли. Сталин вытащил и это. Он забирался в самую тайная тайных производства. Онисимов четко докладывал, не выгораживая себя.

Меж тем из боковой двери появился нарком обороны, здесь какой-то тихий, неприметный, хотя на гимнастерке красовались ордена. Следом вошли и еще члены Политбюро. Некоторые держались свободнее, отодвигали с шумом стулья.

Седенький Калинин прислонился к выступу белой кафельной печки, очевидно, теплой, и грелся, сунув за спину ладони. Все молча слушали дознание, что не прекращал Сталин.

Зачем, для чего они сюда собрались? Невольно Онисимов снова подумал об угрожавшей ему участи. Наверное, сначала постановлением Политбюро его исключат из партии и лишь затем арестуют. Да, вон примостилась у стола стенографистка, достала карандаши, приготовила тетрадь.

А Сталин обнажал, верней, заставлял Онисимова обнажать слабости и незадачи советской танковой промышленности. Прессовое хозяйство. Коробка скоростей. Отжиг серого чугуна. Броня. Способы испытаний. Почему результаты неудовлетворительные? Каковы соответствующие показатели на заводах Германии и Америки? Несомненно, кто-то основательно проинформировал Сталина. Кто же? По всей вероятности, один из таинственных отделов ведомства, отданного бывшему бакинцу, которое, будто всеохватывающий глаз, проникало всюду. Что же, Онисимов должен признать: справка была дельной. А Сталин внимательно, очень внимательно ее изучил.

Выспрашивая, Сталин не тронул вопросов, имевших касательство к письму Онисимова, к его прежней работе в Главпрокате. В мыслях Онисимов тревожно искал ответа: почему же? Впрочем, понятно, — зачем задевать еще и прошлое? Он же сам развернул здесь такую картину технических изъянов, что этого с лихвой достаточно для обвинения во вредительстве. Или, как тогда говорилось, во вражеской деятельности. О достигнутом Сталин не спрашивал. Трудовые заслуги, производственные показатели танкостроителей, — немалые, как мог бы сообщить Онисимов, — остались неупомянуты: дисциплина, ставшая второй натурой Онисимова, повелевала ему отвечать лишь на вопросы.

Из кармана брюк Сталин вынул трубку, подошел к столу, выколотил пепел в мраморную пепельницу, — в тишине гулко отдался этот стук, — повозился с табаком. Движения опять были медлительные или, лучше сказать, медлительно властные. Так мог держаться только тот, кто знал, что никто его не поторопит, не перебьет его молчания.

Задымила знаменитая сталинская трубка. Тотчас закурили и некоторые из собравшихся. Онисимов, разумеется, и помыслить не смел о папиросе. Сталин вновь зашагал.

«Вопрос, думается, ясен», наконец произнес он, «что же, товарищи, будем решать?»

Не ожидая чьей-либо реплики, он продолжал:

«Имеется следующее предложение...»

Мышцы грудной клетки Онисимова окаменели, дыхание причиняло боль. Мучительно тянуло бросить взгляд на Берия, но победила выдержка, — Онисимов на него не посмотрел, не покосился.

А Сталин, помедлив, повторил:

«Имеется следующее предложение. Во-первых, преобразовать Главное управление танковой промышленности в Народный комиссариат танкостроения... Возражений нет?»

И опять выдержал паузу.

«Второе... Назначить народным комиссаром танкостроения... Товарищи, какие будут кандидатуры? Пожалуй, не ошибёмся, если утвердим товарища Онисимова. Другие мнения есть?»

И заключил:

«Народным комиссаром танкостроения назначить товарища Онисимова Александра Леонтьевича. Возражений нет?»

Онисимов навсегда запомнил этот миг. Самообладание ему не изменило. Лишь щеки похолодели. Наверное, он слегка побледнел.

Только теперь Сталин обратился к нему:

«Что же, товарищ Онисимов, вы стоите? Садитесь. Будем решать дальше.»

И опять, не ожидая чьих-либо слов, продолжал:

«Третье... Вменить в обязанность...»

Онисимов сел, сунул в рот папиросу. Еще не верилось: значит, это уже произошло? Он вошел сюда почти арестантом, а выйдет народным комиссаром? Но ведь... Неужели Сталина не поспешили осведомить? Неужели ему неизвестно? Придвинув один из лежащих на столе блокнотов, Онисимов разборчиво, своим каллиграфическим почерком, вывел: 'Товарищ Сталин. Мой сводный брат Иван Назаров арестован, как...'

На мгновение перо Онисимова приостановилось. Не хотелось собственной рукой клеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери, брата, которого давным давно, он, юный Саша, увлек за собой, втянул в партию, а ныне, полгода назад, взятого в тюрьму прямо с вокзала, когда Ваня, секретарь обкома, приехал по вызову в Москву.

Но Онисимов тут же подавил сомнение. Перо снова заскользило: '...враг народа. Считаю нужным сообщить об этом вам'. Подписавшись, аккуратно промокнув непросохшие чернила, он еще минуту выждал.

Сталин продолжал формулировать:

«Четвертое... Предложить товарищу Онисимову в десятидневный срок...»

Онисимов встал и передал Сталину бумагу. Тот недовольно покосился, развернул, прочел записку.

...Так Онисимов, неодетый, босой, и сидит среди ночи на жестком диване. На столе раскрыта тетрадь с записями о северной Европе. В комнате тепло, не дует от окна, скрытого под складками длинной плотной занавеси. Но желтоватые, словно неживые ступни коченеют, — уже несколько лет он вынужден их кутать. Вот и те-

перь Онисимову приходится тянуться за тяжелым ворсистым пледом, свернутым возле диванного валика, и укрывать, обертывать шерстью больные ступни.

В нижнем ящике стола хранится заветный листок. Онисимов выдвигает этот ящик, достает переплетенную в искусственную кожу папку, быть может, впервые замечает, как потускнели чернила, но все же ясна каждая буковка, выписанная тонкими пальцами Онисимова. 'Товарищ Сталин. Мой сводный брат Иван Назаров арестован, как враг народа...' Наискось листа размашисто брошены несколько строк. Почерк и подпись известны по множеству факсимиле. 'Тов. Онисимов. Числил вас и числю среди своих друзей. Верил вам и верю. А о Назарове не вспоминайте. Бог с ним. И. Сталин'.

Ваня так и погиб в заключении. Зачахла, умерла в лагере и его жена — запальчивая, пленявшая обаянием непосредственности южанка Лиза. Оба реабилитированы посмертно. Где затерялась их могила — неизвестно и поныне. Тёмные, будто сочные вишни, глаза Лизы сейчас видятся Онисимову настороженными, внезапно потерявшими блеск, словно в предчувствии неотвратимого близкого несчастья: таким был ее взгляд, когда она и Ваня в конце тридцать седьмого последний раз сидели у него, Онисимова, вот здесь, в этом прокуренном кабинете. Нет, тогда Онисимов еще не курил.

Так и придется уехать в чужие края, ничего не узнав о брате, не имея даже его фотографии. Теперь Онисимову жаль, что он уничтожил даже детскую, на той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было не более десяти.

'...Верил вам и верю'. Эти слова Сталина были щитом, броней, панацеей Онисимова. Или талисманом, как однажды, скорее всерьез, нежели в шутку, сказала жена Онисимова.

Свято хранимый листок, которого коснулось твердое перо Сталина, столь много значил в судьбе Онисимова,

что даже Берия, от улыбки которого по-прежнему становилось холодно, уже не был властен над его участью.

Онисимов поднимает голову, смотрит на висящий в простенке большой, скромно окантованный снимок, единственный в его кабинете. Губы под жёсткими усами Сталина спокойно сомкнуты, а Серго улыбается, он счастлив, полон жизни, явственно обозначилась ямка на его подбородке, задорно распушились острые усы. Да, были времена, когда лишь завидя Сталина или хотя бы разговаривая с ним по телефону, Серго светлел лицом, озаряясь влюбленной улыбкой. Онисимов мог это засвидетельствовать. А в конце своей жизни, Серго вдруг словно потерял неизменную раскрытость души, но и не умевший носить маску, притворяться, уже поиному, — многие, кто с ним общался, начали это подмечать, — по-иному относился к Сталину, неохотно и невесело ему звонил. Онисимов и не подозревал, что Серго пустил себе пулю в сердце. Это была одна из самых тщательно скрываемых тайн, пока на двадцатом съезде...

Онисимов тогда сидел во втором ряду среди других делегатов съезда, — непроницаемый, невозмутимый, каким его привыкли видеть. Необычайная впечатлительность сочеталась в нем с необычайной сокрытостью душевных ран броней.

Однако в ту минуту, когда он услышал, что Серго сам с собой покончил, вдруг будто кто-то защекотал веки Онисимова. Он ощутил: по щекам поползли слезы. Пораженный, — ведь ему с детских лет не приходилось плакать, — он не сразу вытащил платок, несколько капель скатилось со щек.

Давний товарищ, сидевший рядом, взглянул на Онисимова. Взглянул и едва поверил: железный Онисимов, этот человек-машина, знает слезы.

В одиночестве, в тоске Онисимов со своего жесткого дивана все еще смотрит на потерявший силу талисман.

Лишь за полторы недели до смерти Серго Онисимов в

последний раз виделся, говорил с ним. И тогда же, в доме Серго он встретился с тем, кто снят возле Серго, вот на этой самой фотографии под стеклом, с тем, кто впоследствии написал эти разборчивые строчки: 'Верил Вам и верю'.

Почему же Сталин пощадил Онисимова? Оттого ли, что Онисимов не знал колебаний в борьбе со всяческими оппозициями? Или из-за деловых качеств Онисимова, действительно, недюжиных?

Нет, на весы легло и еще кое-что. Один миг... Миг, решивший, возможно, участь Онисимова.

Да, это было его последнее свидание с Серго. Онисимов в те дни, — в феврале тридцать седьмого, — только что вернулся из поездки на заводы. По телефону он доложил Серго о возвращении. Серго сказал:

«Приходи ко мне вечером домой. В восемь часов тебе удобно?»

Серго неизменно проявлял такую деликатность в отношении с подчиненными. Пунктуальный Онисимов прибыл минута в минуту. Серго встретил его в коридоре, крепко пожал пухловатой пятерней небольшую руку Онисимова. И через заставленный книжными шкафами кабинет, пожалуй, несколько нежилой, — подарки, которыми дорожил Серго, плавки первого чугуна Магнитки и Кузнецка, первой меди Балхаша, шлифы авиационной и трансформаторной стали, фотоальбомы вновь возведенных заводов заполнили чуть ли не всю площадь обширного, крытого лаком, черного стола, — повел Онисимова в свой уютный малый кабинетик. Оба сели на диван.

«Ну, товарищ Саша...»

Серго почему-то назвал его по имени, точно так же, как звал давным давно в армии, когда начальник политотдела дивизии Онисимов казался совсем мальчиком, да и Серго, член Реввоенсовета Кавказского фронта не знавал еще ни седины, ни грузноватости.

«Ну, товарищ Саша, где побывал?»

Онисимов принялся рассказывать. Зинаида Гавриловна, жена Серго, принесла чай и печенье. Она не вмешалась в разговор, лишь поздоровалась с гостем, но Онисимов поймал ее заботливый, чуть встревоженный взгляд, брошенный на мужа.

Серго действительно выглядел неважно, был бледноват, под широкими глазами наметились отеки, возможно, после сердечного припадка, случившегося недавно ночью в наркомате, — Онисимов об этом уже слышал, — но сами глаза не потеряли блеска, искрились и вниманием к тому, что рассказывал Онисимов, и трогающей ласковостью.

Серго любил порасспросить о людях. Он и тогда, — эти последние слова, последние вопросы, что Онисимов слышал от него, память неумолимо восстанавливала, — он и тогда живо спросил об одном инженере, ровеснике и бывшем сокурснике Онисимова.

«Пришлось его вздуть, — сказал Онисимов, — за самовольство. Нарушал инструкцию. У немцев за такие дела бьют по карману: плати штраф!»

Серго проговорил:

«Ах ты немец, ты мой немец...»

Вдруг он вскинул голову. Из большого кабинета приглушенно донесся голос Зинаиды Гавриловны. И еще чей-то...

Серго быстро поднялся:

«Извини, пожалуйста.»

И покинул комнату. Минуту-другую Онисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно. Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели — Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более на-

каленным. Как уйти? Выход отсюда только через большой кабинет. Онисимов встал, шагнул через порог.

Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью, румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждал и упрекал Сталина. А тот, в неизменном костюме солдата, стоял, сложив руки на животе.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил:

«Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?»

«Простите, я не мог знать...»

«Что же, бывает... Но с кем вы всё же согласны? С товарищем Серго или со мной?»

«Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.»

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее повторил:

«Так с кем же вы все-таки согласны? С ним?» Сталин выдержал паузу. «Или со мной?»

Наступил миг, тот самый, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Онисимов не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действующая быстрей мысли, принудила его...

Нет, к чему терзать себя? Зачем эти воспоминания, эти думы? Впереди утро, работа. Онисимов смотрит на две общих тетради. Он заставит себя вложить душу и страсть в это свое новое дело.

Проникая по праву писателя во внутренний мир Онисимова, куда он почти никого не допускал, автор, думается, не изменяет последовательному строю этой книги. Воображение, догадки опираются и тут на верные источники, порою на документы, что носят название человеческих. О происхождении, характере одного

из таких документов, переданных мне, я, с разрешения читателя, скажу несколько позже: сама повесть подведет меня к этому.

А теперь следует исчерпать тему 'Предотъездные дни Онисимова'. Сообщу известные мне последние подробности, которые сюда относятся.

В рабочее уединение Онисимова, в его временное пристанище на шестом этаже МИДа нередко врывались телефонные звонки. Звонили сподвижники Онисимова, — и тугодум Шехтель — начальник Управления изобретательства и рационализации, и министр стали, вечно румяный Цихоня, и начальник Главруды — длинный Стремянников, да и многие другие. Сколько раз Онисимову когда-то приходилось говорить им резкости, отчитывать, подхлёстывать и наедине, и на совещаниях, а они, гляди-ка, не таили обиду, не забыли его, своего ныне отставленного строгого шефа, выказывали ему внимание, подавали о себе весть по телефону. Готовящийся к отъезду Онисимов живо вступал в эти телефонные беседы. Услышав в мембране чей-либо знакомый голос, Онисимов снимал очки, садился поудобнее, — куда-то отодвигалась, затуманивалась очередная страница все о той же северной Европе, — легко переключался в свою прежнюю, любимую, совершенно особенную сферу штабной работы в индустрии, вновь как бы пребывал в своей стихии. Ему рассказывали о новостях, советовались с ним. Он интересовался тонкостями дела, опять по своему правилу вникал в технологию, в организацию производства, в заводскую практику. Не менее охотно он углублялся, если разговор этак поворачивался, и в вопросы междуведомственных отношений, ронял как бы невзначай словечко о том, какой требуется ход, чтобы скорее получить или, что называется *пробить*, нужное постановление. Тут его советы бывали особенно проницательны, метки.

По тону собеседников, по другим признакам, Ониси-

мов с удовольствием угадывал: они его числят в строю, считают, что он еще вернется в индустрию. Он и сам этому верил. Разговоры с товарищами были для него словно живой водой, он возбуждался, неожиданно становился словоохотливым, шутил.

Иногда и он позванивал своим бывшим подчиненным. «Ну, как вы там живете? Чем заняты?»

И опять слушал, советовал, опять будто вдыхал и воздух индустриальных штабов, и сернистый газок металлургических печей.

Как-то он опять соединился по телефону с министром тяжелого машиностроения и, поговорив о том о сем, спросил:

«Как поживают наши три восклицательных знака?»

«Вы это о чем?» видимо далеко не единственное дело было у министра отмечено восклицательными знаками. Однако, он тотчас сообразил: «Воздуходувка для Кураковки? Начали контрольную сборку. Кстати, ваш Петр Головня вытрясает мне душу телеграммами, просит разрешения послать своих людей на сборку, чтобы присматривались и уже осваивались. Не знаю, наверное, пока будут только мешать.»

«Опять двадцать пять.» Онисимов любил эту приговорочку. «Пожалуйста, сделай, как он просит.»

«Есть. Записываю.»

«Обойдешься без восклицательного знака?»

«Продиктую сейчас же телеграмму. Вот уж и секретарь ко мне шагает.»

«Фу-ты ну-ты, какая оперативность.»

«Было у кого учиться, Александр Леонтьевич.»

Подобные признания смягчали душевную боль.

Однако, чем ближе подвигался день отъезда, тем замкнутей, мрачней становился Онисимов. Иногда он пошучивал, острил, но глаза были невеселы.

Получая впервые заработную плату в МИДе, Онисимов раздражился, — ему была выписана дополнительная сумма за знание языка. Он издавна, еще будучи на-

чальником Главка и затем министром ненавидел всякие подобные надбавки, не допускал ни для себя, ни для своего *аппарата* никакого добавочного вознаграждения. Он остался себе верен и на новой службе: не принял деньги, которые кассир намеревался ему вручить сверх жалования. Всякие уговоры Онисимов желчно отстранил. Язык он знает едва удовлетворительно, даже скорее слабо, и вообще в каких-либо сомнительных надбавках не нуждается, назначенный ему оклад и без того достаточно высок.

Готовый, лишь последует команда, тотчас вылететь, он счел необходимым наведаться к зубному врачу.

Крепкие зубы Онисимова, некогда миндально белые, приобретшие из-за многолетнего курения кремовый отлив, нуждались в двух-трех пломбочках, и были приведены в полный порядок.

Однако, медицинского обследования он так и не прошел. Рентгеноскопия грудной клетки и желудка, клинический анализ крови, электрокардиограмма — всем этим Онисимов пренебрег. Удивительное дело: любой советский гражданин не мог бы получить заграничный паспорт, не представив справку о здоровье, а у советского посла ее не спрашивали. Назначение состоялось — эта формула заменила всяческие справки.

Отличавшийся неодолимым пристрастием к чистоте, постоянно появлявшийся в блестевшем белом накрахмаленном воротничке, верный таким воротничкам и в командировках среди заводской пыли и окалины, менявший их там по три раза в день, он имел еще схожую слабость: любил быть безукоризненно подстриженным. Из года в год, с тех пор, как он возглавлял Комитет топливной и металлургической промышленности, Онисимов стригся в парикмахерской, расположенной в здании Совета Министров, пользовался услугами одного степенного пожилого мастера. Следовало и теперь подставить шевелюру ножницам.

Сидя в своем новом кабинете, пробегая очередной труд о северной Европе, он провел пальцами по слегка заросшему затылку. Конечно, надо заехать в парикмахерскую. Но не хотелось входить в здание, где располагалась его прежняя резиденция, подниматься по знакомым этажам уже не председателем Государственного комитета, а человеком, которому пришлось уйти отсюда. Может быть, постричься в другой парикмахерской? Онисимов с досадой поймал себя на таких колебаниях, на недостойном, как он считал, малодушии.

Девизом его жизни была безупречность. Всегда поступать так, чтобы сам себя не мог бы ни в чем упрекнуть. А уж замечание, высказанное сверху, даже малейшее, мягкое, причиняло ему жестокую боль.

Однажды он докладывал заместителю председателя Совета министров Тевосяну об исполнении ряда государственных заданий. Каждый месяц в установленный день и час Онисимов входил в кабинет Тевосяна, расположенный в здании Советского правительства в Кремле, здании, над которым постоянно вьется красный флаг.

Они, Тевосян и Онисимов были старыми товарищами, оба получили инженерное образование, стали металлургами, — один сталеплавильщиком, другой — прокатчиком, когда-то оба принадлежали к близким соработникам Серго и, как и Акопов, Лихачев и еще несколько питомцев Серго, оставались нетронутыми в лихую годину арестов. Давние товарищеские отношения не означали, однако, что Онисимов мог ждать от Тевосяна какой-либо, хотя бы ничтожной, поблажки. Малорослый, смуглый, с глянцевитой, поблескивающей, черной, как тушь, шевелюрой, и такими же угольно-черными, небольшими, характерными для армянина усами, заместитель председателя Совета министров был столь же строг с Онисимовым, как с любым подчиненным.

Всю жизнь он звался Иваном Товадросовичем, но Сталин, подписывая указ о награждении Тевосяна званием

Героя социалистического труда, исправил его отчество на 'Фёдорович', превратив таким образом, — уверенный, что и сие ему подвластно, — покойного Товадроса, бакинского ремесленника, в Фёдора.

Обычно Онисимов с честью выдерживал ежемесячную проверку Тевосяна, не получал замечаний, оставался, как всегда, безупречным.

Так было и в этот раз. Покончив с деловым разговором, Тевосян откинулся в кресле, дружелюбно улыбнулся и спросил:

«Роман «Далеко от Москвы» читал?»

«Нет, Иван Федорович, не пришлось.»

«Не пришлось? Напрасно. Хорошая книга.»

Онисимов был больно задет таким, казалось бы, совсем незначительным, мимолетным 'напрасно', распорядился, вернувшись к себе в Охотный ряд, немедленно достать роман и, выключаясь из оперативной текущей работы, прочитал его в две ночи.

Щепетильно требовательный, Онисимов не прощал себе ни одной неточности, оплошки. Признаться, он и поныне, вспоминая иногда другую, тоже не столь давнюю минуту, мысленно постанывает. Было так. Как-то ему позвонил Сталин:

«Хочу послушать, товарищ Онисимов, ваши соображения о новой металлургической базе в Восточной Сибири.»

«Когда, товарищ Сталин, я обязан доложить?»

«Ориентировочный план у вас составлен?»

Онисимов предпочел скромно ответить:

«Еще не план. Некоторые наметки.»

«Ну, наметки, так наметки. Через неделю, скажем, вы будете готовы?»

С увлечением, с напором, словно бы утроенным, — Онисимов неизменно обретал этакое белое каление, когда получал личное задание Сталина, — стянув силы и проектных центров, и науки, и своего аппарата, он,

говоря языком министерства и комитетов, *готовил вопрос.*

Были подытожены и в ночных бдениях, и в дневные часы различные, порой требовавшие ряда лет расчеты, исследования, проекты. Занося необходимые сведения-выжимки в записную книжку, непрестанно продумывая, с чем он придет к Сталину, строя в уме доклад, Онисимов придал ясность и блеск, — свойственный ему особенный блеск деловитости, — обоснованиям будущей восточно-сибирской металлургии.

Подошел назначенный Сталиным вечер. Онисимов четко и нервно собирался. Он вез с собой некоторые справки и заключения, переписанные на лучшей, отборного сорта, бумаге. Ни единой помарки в таких документах, которые шли в Совет министров и, тем более, непосредственно к Сталину, Онисимов не допускал. Малейшая ошибка машинистки, описка, — и он нетерпимо возвращал бумагу в машинописное бюро, чтобы ее перестукали заново. Так прошлой ночью он швырнул и сводную смету капиталовложений, в которой три-четыре цифры были исправлены пером начальника финансового отдела. Уже следовало ехать, уже за Онисимовым зашел один из его заместителей, будто ничуть не взбудораженный, но все же насупленный старик-академик Челышев, тоже вызванный к Сталину, а сводная смета, — этот важнейший документ, — еще не была принесена. В столь волнующий день нервничали и машинистки, портили описками лист за листом. Наконец, со свежими, только что из-под валика, страницами примчался запыхавшийся, с красной повлажневшей лысиной, начфин.

«Александр Леонтьевич, пожалуйста.»

«Всё проверили? Лично вы сами?»

«Каждую цифирку.»

Онисимов метнул взгляд на стенные часы, времени почти не оставалось, он, однако, крикнул:

«Дайте счеты. Посчитаю.»

Присев в своей министерской приемной к столу, поглядывая в смету, он стал пересчитывать. Лишь щелкали, летали с поразительной быстротой костяшки счетов. Затратив на это несколько минут, убедившись, что итог сошелся, он не без удовлетворения произнес:

«Теперь в ажуре.»

И скрепив смету инициалами, бережно присоединил ее к немногим материалам, которые вез с собой в новёхонькой кожаной папке. И уже в машине, держа папку на коленях, еще переживая последние минуты сборов, заключил, обращаясь к Челышеву:

«Знают мое правило: доверился — погиб.»

Из-под лохматых бровей Челышев на миг показал маленькие глазки:

«А я вот доверяюсь и, как видите, ни черта не погибаю.»

Полчаса спустя Онисимов уже стоял у карты, распластавшейся до потолка и, порой пользуясь указкой, сжато, точными сухими фразами, приводя наизусть нужные цифры, излагал Сталину план возведения металлургических комбинатов на восточно-сибирском плоскогорье.

Сталин сохранил прежнюю привычку, — слушал, похаживая. Ему уже исполнилось семьдесят лет. Седина завладела толстыми его волосами, не помиловав ни бровей, ни обвисших усов. На кистях рук и рябом лице были заметны пигментные пятна. Однако его облик, — Сталин был одет в китель с погонами генералиссимуса, в брюки навыпуск с красными лампасами, — отнюдь не казался немощным. Величественность, вопреки низкому росту, низкому лбу, стала его второй натурой. С годами усугубилась свойственная ему с некоторых пор медлительность шага, скупость жеста. Разговаривая, он теперь не поворачивал к собеседнику головы, никого этим не удостаивал. Казалось, за его спиной незримо реяли великие дела эпохи, которую уже именовали не иначе, как сталинской. Он и теперь, под конец жизни,

опять выдвигал небывалые задачи, опять форсированным маршем вел страну в новый поход. Дикая тундра и тайга суровой Восточной Сибири, индустриальное преображение этих огромных, почти незаселенных пространств, — туда давно обращалась его мысль. Необычайно мощный комплекс энергетики, химии, лесохимии и металлургии — такой представала ему пустынная пока Восточная Сибирь. Уже не мало лет разрабатывались главные проектные ориентиры. Ныне Сталин требовал отчета, готовил, не оставляя других планов, исподволь зреющих, эту наступательную операцию, сражение на Востоке.

Теперь, в отличие от довоенных лет, Сталин слушал министров, или других понадобившихся ему лиц, и диктовал решения не в зале заседаний, где безгласно присутствовали члены Политбюро, — он отбросил даже эту формальность.

В старости нелюдимый, Сталин впускал к себе, в свой кабинет, вот, как сейчас, наряду с вызванными для доклада, еще двух-трех приближенных.

Сообщение Онисимова слушал вместе со Сталиным и сидевший в кожаном кресле Берия. Погрузневший, несколько обрюзгший, он, хотя уже и обладал маршальским званием, по-прежнему носил штатскую одежду, добротный, сшитый по моде пиджак. Искусный зачес светлых волос прикрывал просвечивающую лысину. Голубые холодные глаза сквозь круглые без оправы очки взирали на Онисимова.

Ведая, как и раньше, так называемой государственной безопасностью, — эту устрашающую службу Сталин еще со времен тридцать седьмого года поставил, как особое свое орудие, над самыми высшими органами партии и государства, — Берия постепенно стал охватывать и ряд народнохозяйственных задач, год от года более крупных. Ни одно большое строительство уже не обходилось без его участия. Распоряжаясь ГУЛАГом, Главным Управлением Лагерей, сосредоточивая на ударных

стройплощадках неисчислимые колонны заключенных, он командовал возведением новых мощных гидростанций или, как говорилось тогда, великими стройками коммунизма. В этом, — позволим себе здесь строчку авторского отступления, — пожалуй, обнаженно выступал трагический парадокс времени.

Впрочем, Онисимов, тот, каким он был тогда, докладывая Сталину проблему восточно-сибирской металлургии, не знал даже и мыслей о парадоксах, о противоречиях эпохи. От вопросов, которые могли возмутить его, коммуниста, разум и совесть, он уходил, ускользал простейшим способом: не мое дело, меня это не касается, не мне судить. Любимый его брат погиб в тюрьме, в душе он оплакал Ваню, но и тогда остался твердым в своем: не рассуждать. Для него не были пустыми словами выражение 'солдат партии'. Позже, когда вошло в обиход 'солдат Сталина', он с гордостью и, несомненно, по праву считал себя таким солдатом. И каждую встречу со Сталиным острейше переживал.

Берия он бдительно остерегался. Они, два члена ЦК, разговаривали на 'ты', но эпизод тридцатилетней давности — 'не могу вам, Берия, доверять' — не был, конечно, забыт ни тем, ни другим. Онисимов отлично знал, что Берия лишь выжидает случая, чтобы расплатиться, расправиться с ним. Однако для этого требовалось дозволение Сталина, хотя бы молчаливое. Онисимов так и жил в атмосфере непрестанной опасности, привык, что днем и ночью над ним занесена рука. Но Сталин Онисимова не отдавал. Сталинский талисман, сохраняемый Онисимовым, продолжал действовать, оберегая его.

Чувствуя полную внутреннюю собранность, ясность ума, Онисимов, подчас прерываемый вопросами прохаживающегося генералиссимуса, четко докладывал главные данные проекта. Вот он указкой очертил недавно открытое в излучине Ангары железорудное месторождение. Называя на память разведанные и пред-

полагаемые запасы тамошних руд, нуждающихся в обогащении, он неожиданно уловил заметную усмешку на тонких втянутых губах старика Челышева. Что такое? Неужели Онисимов в чем-то ошибся?

Невольно он взглянул на карту. Да, он показал не тот изгиб Ангары. Потрясенный оплошкой, он хотел ее тут же поправить, но Сталин произнес:

«Сколько энергии возьмут ваши обогатительные фабрики?»

Онисимов, не затрудняясь, назвал интересующую Сталина величину.

«Эти показатели, товарищ Сталин, выведены на основе опыта наших лучших обогатительных и агломерационных установок.»

«На основе опыта...» не то вопросительно, не то недовольно, сказал Сталин. «Опять, значит, будете жечь уголь, чтобы выпекать агломерат?»

«Однако других способов нет», ответил Онисимов, «в распоряжении металлургов пока нет. Товарищ Челышев, надеюсь, подтвердит.»

Челышев ограничился кивком.

«Таким образом показатели», продолжал Онисимов, «принятые нами...»

Сталин, однако, не дослушал:

«Что же выходит?» перебил он. «Получим огромные количества энергии от Енисейской гидростанции, от Ангарского каскада. А кто ее будет забирать? Металлургия?»

Он говорил, не повышая голоса, но в тоне сквозило раздражение. Упрекнул Онисимова в том, что тот предпочитает тратить дорогие угли в то время, как следовало бы шире использовать электричество в металлургических процессах. По-прежнему недовольно протянул: «На основе опыта...»

Прошелся, отчеканил:

«Опыт — хорошая штука, но таких условий, которые металлурги получат в Восточной Сибири, такого из-

бытка электричества еще нигде не существовало. А новые условия требуют и новой технологии, нового опыта, не так ли?»

Удовлетворенный своей речью, ее ясностью, логичностью, он последние слова произнес уже без раздражения. Потом подошел к столику, на котором рядом с папкой Онисимова стояла початая бутылка боржоми, налил четверть стакана, отхлебнул.

«Так вот, товарищи», — опять раздался тот же его сипловатый, с сильным грузинским акцентом голос, — «ваша задача: всюду, где возможно, повышать энергоёмкость. Почему бы, например, нагревательные печи и колодцы не перевести на электричество?»

Как и в других случаях, он опять выказывал знание деталей производства. Онисимов лишь кратко ответил: «Есть.»

«Надо и в доменном деле искать способов применения электричества. Как ваше мнение, товарищ Челышев, можем ли мы в какой-то мере заменить кокс электричеством?»

Челышев сказал:

«У нас, товарищ Сталин, существует поговорка: начальник доменного цеха — это хороший кокс.»

«Эту вашу поговорку я слышал уже много лет назад... По-вашему, значит, нельзя использовать для доменной плавки электричество?»

«В малых печах возможно.»

«А в больших нельзя?»

Капризные нотки явно слышались в этом вопросе. Сталин, привыкший, что все и вся перед ним склоняется, сейчас сердился, что технология не хочет ему повиноваться. Челышев, однако, под этой нависшей грозой сохранил спокойствие. И даже ироничность.

«Можно», сказал он, «всё можно, товарищ Сталин, если прикажут. Но будем сидеть без чугуна.»

Берия приподнял белесые брови. Глаза его сквозь круг-

лые стекла смерили Челышева и перебежали на Сталина.

Однако гроза не разразилась. Сталин прошелся, опять обратился к Онисимову, велел показать энергетический баланс.

Конечно, поведение Сталина, его вопросы, с несомненностью свидетельствовали, что применение электричества в металлургии вскоре станет или, пожалуй, уже стало новым увлечением, новым коньком Хозяина. Онисимов засек это в уме. Однако в те минуты по-прежнему мучился оплошкой, которую совершил, очерчивая изгиб Ангары. И пока шел разговор о проектных основах будущей далекой металлургической базы, он все не выпускал из рук тонкой длинной указки. Но уже было неуместно возвращаться к географической карте.

А после, сидя с Челышевым в машине, вынесшейся из Кремля, он сам себя казнил:

«Ужасная ошибка, непонятно, как я обмишурился.»

«Бросьте, ерунда.»

Да, старик обладал легким характером, промашка Онисимова представлялась ему впрямь ерундой. Но Онисимов не мог себе ее простить, был совсем убит. Как он допустил такую кляксу. Он, не переносящий ни малейшей небрежности ни в чем. И где же, перед кем?

«Бросьте», с той же добродушной грубоватостью повторял Челышев. «Никто же не знает, что вы ткнули не туда.»

«Но знаю я, этого достаточно.»

И еще не мало дней терзался, страдал...

Сейчас, рассеянно глядя в окно своего нового, так и не обжитого, кабинета на улицы Москвы, уже присыпанные первым ноябрьским снегом, следя за медленным полетом снежинок, Онисимов спрашивал себя: скоро ли, наконец, настанет время, когда его мысли будут сосредоточены только на деле, ему ныне порученном? Он заставляет себя придвинуться к непривычно мало-

му письменному столу, заваленному трудами о некой, ничуть его не влекущей северной стране. Да, надо побороть эту несобранность, ему несвойственную.

В самом деле, намереваешься, например, подстричься, и вдруг на ум приходит фраза, оброненная когда-то Тевосяном, или устремленный на карту Восточной Сибири непроницаемый взгляд Сталина.

Приходится постоянно быть настороже, не давать воли видениям, которые ежеминутно готовы нахлынуть. И заниматься делом. И если уж пора стричься, то с этим больше не тянуть. Разумеется, Онисимов мог бы позвонить в парикмахерскую Совета министров и вызвать на дом мастера, уже ему привычного. Так и поступали иные сотоварищи Онисимова, принадлежавшие наравне с ним к высшему служивому кругу. Однако Онисимов никогда к подобным вызовам не прибегал, ему претила эта барственность.

И вообще, почему не пойти в парикмахерскую? Именно в Совет министров. Именно в ту. Где же, черт возьми, его достоинство ничем незапятнанного члена партии? Полчаса спустя по вылощенному автомобильной резиной асфальту, на котором не залёживался снежок, — его тотчас убирали, — машина Онисимова подкатила к каменной серой громаде в Охотном ряду. Онисимов, в темной мягкой шляпе, в зимнем пальто с неброским, недорогим черным барашковым воротником, быстро взошел по знакомым ступеням. Его сухощавое бледное лицо казалось невозмутимым. Кто-то спускался навстречу, поклонился Онисимову, тот улыбнулся, приветливо кивнул. Его вид как бы гласил: 'Да, был работником промышленности, отвечал перед правительством и партией за металл, за топливо, а ныне получил новое важнейшее государственное поручение'. И точка. И ничего более.

Порою опять отвечая с улыбкой на поклоны, он прошел широким коридором в парикмахерскую. Разделся, сел в кресло к своему мастеру, достал сигарету, чирк-

нул спичку, огонек заходил, заплясал в его худощавых пальцах, — непросто дался Онисимову этот марш сюда. Неожиданно в памяти возникло: 'Избегайте ошибок'. Э, их разве избежишь?

Степенный мастер, в отличие от многих собратьев по профессии, не щедрый на слова, — эту его особенность ценил Онисимов, — накинул простыню на плечи Онисимова, тронул рукой его каштановые или, точней, желудёвого тона волосы, пригляделся, затем ножницами стал подравнивать затылок. В какую-то минуту, когда парикмахер легчайшими касаниями бритвы срезал отдельные волосинки вдоль отчетливой, строго прямой линии пробора на левой стороне головы, Онисимов проговорил:

«Всё не седею?»

«Да, седина почти вас не берет. Но отлив уже не тот.»

«Какой отлив?»

«Вы извините, масла уже нет.»

«Какого масла?»

«Ну, блеск не маслянистый. Сухой. И волос хрупкий, не тот.»

Словно проверяя себя, парикмахер вновь тронул пальцами прическу Онисимова, помедлил и спросил:

«Вы, часом, не прихворнули, Александр Леонтьевич?»

Впоследствии Онисимову не однажды припоминался этот вопрос.

В середине ноября правительство северной страны прислало, наконец, официальное согласие принять Онисимова в качестве представителя Советской державы — так называемый агреман.

С этого момента интересующие нас события обрели стремительность. Агреман, насколько автору удалось установить, был получен в пятницу, уже в субботу в утренних газетах под рубрикой 'Хроника', появилось сообщение о том, что Онисимов назначен послом, в

субботу же ему были вручены все документы, вылетать предстояло во вторник рано утром.

Обнаружилось, разумеется, множество мелких забот, которыми еще следовало заняться в оставшиеся до вылета дни. Список недоработок, заключительных дел, заполнил несколько страниц, испещренных каллиграфическим почерком Онисимова.

Опираясь на свой маленький штат, тоже отправлявшийся вместе с ним в чинное северное государство, Онисимов с неутомимой методичностью приводил к совершенной ясности, к ажуру, — это бухгалтерское слово, равно, как и металлургическое 'попадание в анализ', принадлежало к его излюбленным выражениям, — вымарывал пункт за пунктом.

Конечно, этому легиону мелочей, медленно редевшему, этой последней расчистке было предназначено и воскресенье. Он сам аккуратнейше упакует свои чемоданы, не в его обыкновении сваливать на кого-нибудь такую работу. Однако один час Онисимова, воскресный завтрак, по издавна заведенному порядку, принадлежал семье. Или верней — сыну Андрюше. Онисимов включил и это в список дел, его рукой было записано: 'Побыть с А.'.

Заглянем же к началу этого предотъездного совместного завтрака в обширную столовую Онисимовых. Сквозь оба больших окна, вдоль которых свисают раздвинутые красноватые плотные занавеси, проникает тускловатый свет предзимнего городского утра. Из двенадцати стульев, обступивших покрытый камчатной скатертью стол, сейчас заняты лишь два. Сдвинут и третий, дожидающийся хозяйку дома.

На своем постоянном месте с краю стола сидит Онисимов. Свеже выбриты его не полные, скорее впалые, щёки, он бреется сам каждое утро, из этого правила не бывает исключений. Дома все уже привыкли к нездоровой желтизне его лица.

Он одет по-деловому, в свой обычный служебный ко-

стюм. Ортодокс скромности, — такое прозвище было дано ему, товарищу Саше, еще в армии, — он годами носит вот эти, залоснившиеся сзади до блеска, темные в полоску брюки и столь же вытертый пиджак. Зато сорочка свежохонькая.

Войдя первым в столовую, он захватил с собой несколько сегодняшних газет, но теперь отодвинул всю пачку, положил перед собой очки и молча смотрит на сына, который уселся напротив.

Лицом, да и всем складом, Андрей не напоминает отца, — слегка вьются светлорусые волосы, тонкая кожа, на которой чуть рдеет румянец, кажется девичьей. В серых глазах то и дело проступает живая игра. Во взгляде Андрея зачастую можно прочесть и неуверенность или, пожалуй, некое вопросительное выражение. Подбородок его мягко очерчен. И будто для контраста с этими нежными чертами задорно вздернут нос.

Конечно, все это вовсе не отцовское. Да и не материнское.

Что же все-таки в нем, этом нешумном мальчике, онисимовского? Он выдался в своего деда Леонтия Онисимова, русского бродячего плотника, искателя не то правды, не то счастья, который Бог весть какими судьбами был занесен из вятских лесов в Харьков и там женился по страстной любви на украинке Анне или Ганусе, как ее называли подруги. Темнобровая Анна, ставшая матерью, стала и коренником семьи, находила заработки непутевому, непрактичному мужу, и себе, постоянно ходила на поденщину или брала стирку домой, выбивалась из сил и из нищеты. Свою устремленность к цели, энергию она вместе с точеным лицом передала Александру. А потом также и Ване. Но вот маленький Андрей игрой наследственности перенял дедовские черты.

В характере Онисимова, казалось бы, однолинейном, целиком подчиненном лишь одной страсти — работе, таилось и несколько неожиданное качество: глубокие

родственные чувства. Никто не догадывался, например, как остро он горевал по несчастному, погибшему в заключении брату. Эта душевная ссадина и поныне не зажила. Зная за собой эту привязчивость, Онисимов все же не ожидал, что рождение ребенка — столь позднее — вызовет у него сильные переживания. Приезжая со службы обедать, Онисимов брал на руки, прижимал к себе теплое маленькое тельце, приникал к нему губами. А если не заставал малыша дома, шел в его комнату и там, притворив дверь, подносил к лицу его подушечку, дышал милыми запахами.

В дальнейшем, когда в мальчике пробудилось сознание действительности, мысль, отец не проявлял так бурно своих чувств. Постоянная замкнутость взяла свое.

И вот его сын уже старшеклассник. Онисимов смотрит на него: скоро и паспорт получать... А беленькая, чуть с румянцем, физиономия выражает что-то неопределенное, неоформленное, детское. Не скажешь, куда он устремлен, каким он станет, где проляжет его путь. Чего в нем только не намешано. Иногда увлекается техникой, как-то стал мастерить какие-то модели и, не доведя до конца, бросил. Любит книги, читает порою запоем, главным образом художественную литературу. Этим тоже он вышел не в отца, да и не в мать.

Сам-то Онисимов уже в тринадцать лет впрягся в лямку заработков, сумел и заканчивать коммерческое училище, и помогать семье. А в шестнадцать уже избрал свою дорогу, стал верным солдатом партии большевиков. Избрал до конца дней.

Андрюша смотрит на отца, но не впрямую, как-то искоса. Машинально водит по скатерти пальцем (такой жест был и у Вани), то поднимает, то опускает глаза. В этом взгляде, как и в чертах лица, тоже сквозит неопределенность, нерешительность, некая противоречивость. Мальчик испытывает к отцу и любовь и жалость, но пора бездумного преклонения миновала.

В ожидании завтрака Онисимов поворачивает тарелку,

чтобы на нее падал свет, сдувает померещившуюся ему пылинку, тщательно протирает салфеткой. Когда-то эта свойственная Онисимову брезгливость, его почти маниакальное пристрастие к чистоте, восхищало сына. Вечно трудившийся, беззаветно преданный работе, постоянно, днем и ночью, будто трехжильный, занятый на службе, отец раньше был недостижимым примером, непогрешимым авторитетом для Андрюши. Затем обожание надломилось. На смену явилось другое, более сложное или, лучше скажем, не совсем и сейчас еще сложившееся отношение.

Когда же сыновье обожание пошатнулось? Как это было? Сидя вот так же за воскресным завтраком тому назад четыре года или, пожалуй, уже почти пять лет, третьеклассник Андрюша, отхлебнув кофе, вдруг звонко сказал:

«Папа, а вчера головешка наврал про тебя.»

«Который?» нервно спросила Елена Андреевна.

С ее легкой, а может быть, тяжелой руки, «головешками» звались все члены семьи Головня, даже старший из братьев Алексей Афанасьевич, первый заместитель Онисимова, человек куда более приемлемый, нежели склонный дерзить Петр, директор Кураковки. «Наврал» про Андрюшкиного отца «головешка», с которым мальчик водил компанию во дворе, — Лёнька Головня, сын Алексея.

«Что же он сказал?» произнес Онисимов, храня спокойствие.

Оказалось, ничего особенного. Просто описал эпизод, действительно недавно приключившийся.

Произошло вот что. На прошедшей неделе Онисимов, министр стального проката и литья, поехал со своим первым заместителем — Головней-старшим — на междуведомственное совещание к министру путей сообщения, который, кстати говоря, был одновременно и секретарем Центрального Комитета партии. Снова напомним, что в те годы, — годы, когда старел и до рас-

света не спал Сталин, — день и ночь для значительного слоя высших служащих ничем не отличались: механизм управления не приостанавливался до утра. Совещания, созываемые в двенадцать, а то и в час ночи, стали обыденностью. За полночь началось и бдение у министра путей сообщения. Было широко известно, что он любит поговорить, поэтому заседания у него особенно затягивались. Наперед зная, что отсюда до света не выберешься, Онисимов и Головня, приезжавшие каждый на своей машине, обычно, одну из них отправляли восвояси, — пусть шофер поспит, — с тем, чтобы на другой вместе возвратиться по домам, благо жили они рядом, — в разных подъездах многокорпусного здания у Москва-реки.

Предугадка оправдалась и на этот раз. Говорливый министр лишь в шестом часу утра объявил совещание законченным, потом еще порассказал, не спеша, что-то назидательное из своей практики и, наконец, отпустил приглашённых.

Огромные квадратные часы на башне министерского здания у Красных ворот показывали уже больше шести, когда на улицу гурьбой вышли крупнейшие клиенты железных дорог, высшие командиры промышленных штабов. Нежно пригревало поднявшееся уже солнце, московская весна набирала силу, воздух был по утреннему свеж, из близкого сквера доносился запах вскопанной влажной земли. Утреннее оживление уже охватило город.

Другие участники совещания быстро разъехались, а два металлурга, недоуменно поглядывая по сторонам, продолжали стоять на тротуаре. Случилось так, что в это утро они остались без машины. Оба шофера уехали, понадеявшись, очевидно, друг на друга. Что делать?

Нескончаемой цепочкой шли люди к полукруглому, словно раковина-эстрада для оркестра, строению на противоположной стороне площади, строению, над ко-

торым виднелась большая буква М. Ба, это же метро! Недолго думая, широконосый, с веселыми, ясными, вопреки бессоннице, глазами Алексей Афанасьевич предложил:

«Едем на метро. Как раз доберемся к библиотеке Ленина. А там мы уже дома.»

И министр со своим первым заместителем двинулись в метро. Знакома ли тебе, читатель, толкучка раннего шестичасового метро в Москве? В семь утра на многих предприятиях начинается рабочий день, люди торопятся к проходным. Толпа повлекла руководителей министерства. Однако, не дойдя до касс, они приостановились. На них зашумели:

«Чего встали на дороге?»

Сопровождаемые бесцеремонными толчками, недовольными возгласами, они выбрались в сторону и, не без юмора переглядываясь, занялись поисками денежной наличности. Жизнь обоих складывалась так, что можно было обойтись без карманных денег. Специальный буфет, — так и именовавшийся: спецбуфет, — обслуживал без всякой оплаты коллегию министерства, чем, скажем к случаю, Онисимов никогда не злоупотреблял. Попросит принести стакан чаю, крепкого, как деготь, и бутерброд с сыром. Да несколько пачек сигарет. И этим ограничится. И сослуживцы так или иначе следовали его воздержанности.

Первый заместитель обнаружил, наконец, завалявшуюся в кармане трёшницу. Трёшница... Хватит ли этого им на билеты?

Встав в очередь, подошли к кассе, Онисимов спросил:

«Сколько стоит билет до Библиотеки Ленина, скажите, пожалуйста?»

Кассирша взглянула на этого прилично одетого пассажира:

«У нас, гражданин, все билеты в одну цену.»

А сзади уже нервничали, торопили.

«Сколько же?»

Кассирша не поверила, что с ней разговаривают серьёзно:
«Вы что, смеетесь? Пятьдесят копеек.»
Так вот, с грехом пополам, билеты были взяты. Кто-то отдавил Онисимову больную забинтованную ногу, когда втискивались в вагон. Он перенес это стоически. Ему ли, знавшему работу у жарких печей и в разливочной канаве, ему ли морщиться от каких-то минутных, ничтожных неудобств? И вздернув верхнюю губу, показав крепкие зубы, он улыбнулся отжатому в угол своему спутнику, который с комическим сокрушением покачивал головой. На станции «Библиотека Ленина» они покинули метро. Вон на той стороне Москва-реки возвышается их мрачноватый дом, в темной облицовке, без единого украшения, детище тридцатых годов. Среди прочих пешеходов они идут по тротуару: Онисимов в неизменном тёмном в полоску костюме, в несмявшемся за ночь, будто только что надетом твердом белом воротничке, в недорогой кепке, — ни дать ни взять, пунктуальнейший заводской служащий, отправившийся с утра пораньше на работу, — и сутуловатый, наделенный, что называется, медвежьей статью Головня, улыбающийся чему-то, может быть, попросту этому солнечному дню, неожиданному приключению-прогулке, обмундированный в полувоенный, защитного цвета, добротный костюм. Поглядывая на кремлёвскую стену, на очерченный парапетом, пустынный в этот час проезд через Боровицкие ворота, они, пересекая площадь, зашагали напрямик к каменному мосту. Но почему со всех сторон поднялась трель милицейских свистков? И почему к нечаянным путешественникам бегут милиционеры?
«Стой, куда вас понесло?»
Два столпа министерства оторопело остановились.
«Разве здесь нельзя пройти?»
Как и в кассе метро, их неведению не поверили и тут. Вышколенные московские милиционеры с подозре-

нием оглядывали странных нарушителей. Даже принюхивались: не шибает ли спиртным? Нет, ровно бы ни в одном глазу.

«Кто вы такие? Москвичи?»

«Да.»

«И не знаете, где надо переходить? Первый раз, что ли, вышли на улицу?»

Ответом было смущённое молчание.

«Предъявите паспорта.»

Паспортов, однако, не оказалось ни у того, ни у другого. Досадуя, но сохраняя всегдашнюю невозмутимость, Онисимов протянул свое удостоверение члена Правительства. На миг милиционеры склонились над этой раскрытой твердой книжкой. Затем вытянулись по струнке, взяли под козырек, остановили движение транспорта на площади, почтительно провели к мосту заплутавшую пару.

Эту-то историю Андрейка узнал во дворе от Головнисына. И за семейным завтраком спросил:

«Папа, ведь это неправда?»

Онисимов кратко ответил:

«Этакий казус был.»

В семье больше об этом не говорили. Однако что-то в облике отца, которому Андрей безгранично поклонялся, вдруг померкло. Мальчик, наверное, и сам не смог бы объяснить, почему именно тогда в его мысли об отце впервые вторглась критическая нотка. Еще неясная, невнятная...

Андрей и теперь любил отца, уважал, но... Но вот сейчас неприятно, что папа сидит рядом с этим полотном в золочёной раме, полотном, где выписан во весь рост в форме генералиссимуса Сталин, якобы смиренно сложивший на животе руки.

Андрей следит, как отец вытирает тарелку, снимая какую-то едва видимую, а то и совсем не существующую пылинку. Неприятно... Но, кто знает, не стало бы еще неприятнее, если бы отец поспешил убрать этот

портрет, как это уже сделали в некоторых квартирах по-соседству. Мальчик смутно улавливает душевную драму отца. Жалость к нему, такому осунувшемуся и словно бы постаревшему с лица, колет, щемит мальчишеское сердце...

Так они сидят, помалкивая, пока в столовую обычным деловым шагом не входит Елена Андреевна. Сколь помнит Андрюша, он всегда видел мать подобранной, подтянутой. Она и сейчас такова: поседевшие волосы гладко причесаны, отвороты светлой блузки выпущены поверх серого жакета. Рослая, постоянно выпрямленная, она и дома нередко носила строгий костюм, не жалуя, так называемые, домашние платья. Её суховатому облику противоречили, пожалуй, лишь щёки, несколько обвисшие, — в них было что-то бабье, как бы свидетельствующее, что ей, опытной деятельнице, не имевшей ни единого взыскания за все тридцать пять лет своего существования в партии, ведомы и переживания женщины, тревоги матери.

На нее смотрит и Онисимов. Точно такую же прическу, не заслонявшую синевато-розового родимого пятна на краю лба, Елена носила и треть века назад, когда Онисимов впервые увидел её на каком-то совещании в райкоме, — носила, как бы объявляя: 'Ничего перед партией не таю!' Общаясь на партийной работе, сблизившись в жаркой борьбе против оппозиции, — сначала троцкистской, потом зиновьевской и, наконец, объединенной, — они в некий день предстали миру мужем и женой. Пожалуй, это был брак не по любви, а так сказать, по идейному, духовному родству. И Онисимов не обманулся. Теперь, много лет спустя, он мог убедиться в своем давнем определении: 'Твердый, надежный товарищ'.

Елена Андреевна и в нынешнее утро, вопреки немалому числу забот, вызванных приближающимся отъездом мужа, не пренебрегла своей безотменной воскрес-

ной материнской обязанностью: побывала в комнате сына, проверила, как он поддерживает порядок у себя в бельевом шкафу, на письменном столе и на книжной полке. Направляясь к Андрюше и к мужу, к оставленному для неё месту хозяйки, он держит в руке том сочинения Ленина в тёмнокоричневом с золотым тиснением переплете. И усевшись, положив книгу, произносит:

«Очень отрадно, Андрей, что ты начал читать Ленина.»

Елена Андреевна сказала сыну 'отрадно', но в её взгляде, осторожно посланном мужу, можно уловить беспокойство. Онисимов её понимает без слов. Мало ли теперь молодых фрондёров, распустившихся без твердой руки, предвзято подбирающих выдержки из Ленина. Андрею не сообщается о родительских опасениях. Мать, приподняв со скатерти тёмно-коричневый том, отчитывает мальчика за другое:

«Хорошо, что ты интересуешься сочинениями Ленина, но нельзя же проявлять неуважение к книге.»

«Неуважение?»

Появляется Варя в белом переднике, в свежей белой косынке. Ловко разложив по тарелкам сосиски и картофельное пюре, она бесшумно исчезает за дверью. Можно продолжать разговор. Голос Елены Андреевны не по возрасту звонок; даже теперь, когда ей перевалило за пятьдесят, порой на собраниях она удивляет силой и чистотой голоса. Сейчас в просторной с высокими потолками столовой, каждое слово хозяйки явственно звучит:

«Ты сунул её в кучу других книг и, как видно, забыл, что она существует.»

Андрей, этот увалень, вместо того, чтобы аккуратно нарезать сосиску, берет её в руку и надкусывает. Отец безмолвно его останавливает. Материнская нотация продолжается.

«Если ты взял у папы с полки этот том... Повторяю, мы только рады. Но, почитал и изволь сразу же по-

ставить на место. Вдруг взрослым эта книга потребуется. Ты понимаешь?»
Мальчик согласно кивает. Мать позволяет себе приступить к завтраку. Однако назидание ещё не закончено:
«Кроме того, если желаешь что-нибудь запомнить, заведи тетрадь и делай выписки. Нельзя же портить книгу своими пометками.»
«Что за пометки?»
Онисимов кладёт вилку, подтягивает к себе украшенный золотым тиснением томик. Еще не хватало, — сын начал что-то отмечать у Ленина. Однако спокойствие, спокойствие. Последний совместный завтрак не должен обернуться стычкой, жена уже и так переусердствовала. Онисимов спокойно спрашивает у сына:
«Не обидишься, если взгляну?»
Мальчик вдруг оживляется, в глазах мелькает лукавство:
«Папа, ты уже изъясняешься, как дипломат.»
Голова Андрюши по-отцовски чуть склонена на бок (вот она — наследственная чёрточка). Онисимову известно, что за сыном этакое водится: тих, незаметен, послушен, и вдруг вымолвит, как выпалит, удивит метким словцом. Но и отец умеет найтись сразу.
«Ты первый раз это обнаружил?»
«По правде говоря — не в первый.»
«Ну, что ж... Не ты один открыл во мне дипломатические способности.»
Сказано это бодро. В доме Онисимовых еще пытаются скрыть от Андрюши, сколь тягостен, горек для отца уход с прежней работы. Только что произнесенная шутливая фраза Онисимова тоже служит такого рода маскировкой. В подобном тоне вторит жена, её нажим жирнее:
«И способности, и эрудиция, вот папу и назначили. У него теперь очень важная задача.»
Вышколенный Андрюша не возражает, не выказывает

сомнения, лишь по привычке отводит серые большие глаза. Онисимов поближе подвигает к себе книгу, откидывает темно-коричневую твердую крышку, надевает очки.

В эту минуту доносится приглушенный расстоянием звонок у входной двери. Слышно, как Варя пошла открывать. Кто там? К завтраку никого не ждут. Почту беззвучно опускают в дверную щель. Телеграмма? Лицо Елены Андреевны стало настороженным. Видно, что она до сих пор на что-то надеется, может быть, на какую-то внезапную перемену в судьбе мужа. Появляется Варя.

«К вам портной из министерства. Принес костюм.»

«Так пусть оставит.»

«Без примерки не может.»

«Ох, опять двадцать пять...»

«Я ему сказала подождать.»

«Нет, нет, почему он должен ждать? Проведите его, Варя, в кабинет.»

Быстро поднявшись, сбросив очки, Онисимов выходит из столовой. Сын успевает крикнуть ему вслед:

«Папа, мы без тебя кофе пить не будем. Мама, да?»

«Само собой понятно, мог бы не кричать.»

Мальчик на миг съёживается, но когда Варя забирает кофейник, чтобы подогреть на плите, он, улыбнувшись каким-то своим мыслям, негромко произносит:

«А Журкевич уже строчил фраки отъезжающим заграницу дипломатам...»

«Какой Журкевич? Что с тобой?»

«Ну, его принимают за академика. Главный портной наркомата иностранных дел. Не помнишь, у Ильфа и Петрова?»

Елена Андреевна, откровенно говоря, равнодушна к Ильфу и Петрову. Конечно, известное воспитательное значение этих авторов никто не отрицает. Она и сама когда-то их листала. Но в цитате, приведенной сыном, ей сразу почудилось неуважительное отношение и к

наркомату, и к главному портному, да, пожалуй, и к дипломатам. Впрочем, она в этом не уверена. И предпочитает молчать. Или, что называется, воздержаться от высказываний.

Мать и сын молча сидят за столом. Вскоре Онисимов возвращается в столовую. На нем парадная форма дипломата, облеченного самым высоким рангом. Серое сукно украшено золотым шитьем, прорисованы золотой ниткой и дубовые листья на отложном воротнике, и звезды на погончиках. Такие мундиры дипломатов были введены при Сталине, который на склоне лет одевал в форму ведомство за ведомством.

Онисимов знал, что ему вряд ли понадобится это разукрашенное одеяние, — советские дипломаты за границей отнюдь не показывались в мундирах, да и внутри страны теперь такого рода парадные костюмы, след минувших времен, надевали всё реже. Но не были отменены. Что же, порядок есть порядок: Онисимов во всём покорился портному. Кстати, мундир вот сразу и пригодился. Пусть взглянет Андрей. При других обстоятельствах Онисимов, конечно, не позволил бы себе демонстрировать дома свою парадную форму одежды, но сейчас им двигала всё та же потаенная мысль: не хотелось, очень не хотелось, чтобы сын догадался об ударе, постигшем отца. Ничего не стряслось, никакого удара. Да, да, он просто получил новое ответственное назначение. И даже, — изволь видеть, — отмечен золотым шитьём.

Мальчик смотрит на отца, опять занявшего свое место возле написанного маслом, поседевшего Генералиссимуса, и снова ощущает укол жалости: надетый впервые серый мундир резче оттеняет, как похудел, пожелтел отец.

По воскресной традиции Елена Андреевна сама разливает в чашки кофе. Отхлебнув, Онисимов вооружается очками, раскрывает том Ленина. Перед текстом фотография. Владимир Ильич, видимо, слушает кого-то,

слегка вытянув шею к собеседнику, прищурив один глаз. Снимок на редкость удачный, живой. Объектив схватил мгновение, когда у Ленина возникает усмешка. Она чуть морщит верхнюю губу. Вот-вот Ленин произнесет свое 'гм, гм...'

Минуло почти сорок лет с тех пор, как Онисимов впервые прочел Ленина. Это была потрёпанная, без переплета, брошюра «Что делать?» Пожалуй, ни одна книга ни раньше, ни потом не действовала столь сильно на Онисимова. Ясность мысли Ленина, его убежденность, логика покорили пятнадцатилетнего Сашу. Что делать? Сплотиться в партию, в дисциплинированную монолитную организацию пролетарских революционеров, — таков был усвоенный Онисимовым на всю жизнь ответ. Его программой, его верой стали ленинские строки: 'Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернём Россию'. И что же, Владимир Ильич, разве не перевернули? По-прежнему щурясь, Ленин смотрит из книги на Онисимова, на возвышающегося над его головой единодержавного Генералиссимуса.

Отодвинувшись от стола, чтобы не испачкать мундир, Онисимов быстро перекидывает страницы, ища сделанные сыном пометки. А, какие-то строки отчеркнуты карандашом. Глаз уже схватил: '...марксист должен учитывать новую жизнь...' И далее еще одна карандашная черта. Понятно. О различии между марксизмом и анархизмом. И на сердце уже отлегло. Признаться Онисимов опасался, что сын, этот маленький книжник, станет предвзято выбирать выдержки из Ленина, как в подражание прежним оппозициям делают и некоторые нынешние, осмелевшие без Сталина, молодые фрондёры. Опасался, ибо после Андрея книга была лишь наскоро просмотрена матерью. К тому же, Онисимов и дома придерживался своего правила, давно ставшего привычкой: 'доверился — погиб'. Сейчас он воочию убеждается в невинности пометок сына. Однако продолжает листать, находит еще черточку. Что же,

опять ничего страшного. А дальше и вовсе нет следов карандаша. Это знакомая Андрюшкина манера: почитал, почитал, и бросил. Ладно, в данном случае помиримся на этом. Как говорится, могло быть хуже.
Исхудалые пальцы Онисимова тянутся к коробке с мордой пса, забирают сигарету. Чиркнув спичкой, он закуривает. Дрожь пальцев в эту минуту лишь едва уловима. Ещё раз — теперь уже с легким сердцем — он переворачивает десяток-другой страниц. Том открывается на сложенной вчетверо вклейке-факсимиле Ленина. Но, что это? Оттуда выглядывает и уголок какого-то другого листка. Нет, не зря Онисимов заслужил у металлургов прозвище следователя. Выразительно вглянув на жену, — 'так-то ты смотрела!' — он извлекает бумажку. Фу-ты ну-ты, стихи. Нет ни названия, ни имени автора. Но, несомненно, это почерк сына. Кривульки-буковки выведены совсем еще по-детски. Да, не перенял Андрюша ни отцовского, ни материнского, — тоже неизменно отчетливого почерка.

«Если, Андрюша, это твой секрет», произносит Онисимов, «я читать не буду.»

Сыну не в новинку покраснеть. Смущённый, он держит ответ:

«Никакого секрета... Просто списал девчачьи стихи.»

«Девчачьи? Чьи же?»

«Не знаю... Списал тут у одного.»

Серые Андрейкины глаза выдерживают испытующий отцовский взгляд. Елена Андреевна возмущена. Что за поветрие: заходили по рукам разные стишки, нигде не напечатанные.

Онисимов говорит:

«Отбросим дипломатию и прочтем.»

Он оглашает строчки:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.
Я от тебя приму твой голод
И за тебя останусь голой...

Елена Андреевна не выдерживает:
«Почему голой? Какой голод? Что за ерунда!»
Движением руки Онисимов останавливает жену. И продолжает во всеуслышанье:

На всё иду, на всё согласна.
Я всё отмерю полной мерой.
Но только ты верни мне ясность
И трижды отнятую веру.
Я так немного запросила
За жизнь свою — лишь откровенность.
А ты молчишь, — глаза скосила,
Всевидящая современность.

«Хватит», прерывает Елена Андреевна и поворачивается к Андрею: «Какая же это у тебя в четырнадцать лет отнята вера? Может, объяснишь?»
Отец говорит:
«Не он же сочинил.»
«Пусть и не списывает такую глупость.»
Водворяется молчание. Онисимов безмолвно перечитывает:

За жизнь свою — лишь откровенность.

Нет, он не может, не умеет быть откровенным. Разучился этому давным-давно. Возможно сейчас следовало бы мягко, задушевно сказать сыну: 'Твой отец был и остается солдатом своей партии, а солдат думает о бое, а не о всём ходе войны. О войне думают другие...'
Он оставляет невыговоренным такое признание. И подойдя к сыну, погладив его мягкие русые волосы, — эта ласка тоже нелегко дается Онисимову, — говорит иное:
«Не смотри вот так.» Уткнувшись взглядом вниз, отец приставляет с обеих сторон к глазам ладони, наподобие шор. «Надо смотреть вот так...»

Отцовская большая голова теперь приподнята, руки козырьком приложены ко лбу, зеленоватые глаза будто озирают горизонт. Нередко и на заводах и в разговорах с цеховыми инженерами, с директорами Онисимов вот так же показывал, каким должен быть взор каждого работника.

Дав мальчику этот завет, Онисимов сует в карман вышитого золотом мундира коробку «Друг» и, захватив с собой том Ленина, уходит в кабинет.

В простенке висит скромно окантованный снимок Сталина и Серго. Онисимов на минуту останавливается перед этой фотографией.

В уме неожиданно всплывает:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха...

Самолет, на котором Онисимову и сопутствующим ему нескольким сотрудникам предстояло оторваться от московской земли, уходил в шестом часу утра. В эти ноябрьские дни 1956 года в Москве, после растаявшего первого снега, установилась осенняя мокреть. По черно-блестящему асфальту, пролегшему среди полей, машина Онисимова, рассекая лужицы, шла к аэродрому. Жена и сын занимали задние сиденья. Невыспавшийся Андрейка, под утро разбужденный Варей, сейчас, нахохлившись, привалился к мягкой обивке. Елена Андреевна была бодра, как всегда. Её несколько беспокоила мысль: как-то пройдут проводы? Будет обидно, если приедут лишь немногие. Еще накануне она предрекла, что Серебрянников поостережется, не появится на аэродроме. Она бы и сейчас высказала несколько предположений, но лучше при шофере помолчать.

Показался ярко освещенный подъезд аэровокзала. Машина подкатила к нему ровно за тридцать минут до отлета. Втроём, — впереди Онисимов в тёмной мягкой

шляпе, в осеннем, непривычно модном пальто, следом статная, строго одетая, в шапочке серого каракуля, Елена Андреевна и бледноватый, щурящийся на свету Андрюша, — они зашагали к широченному крыльцу. Тут же, откуда ни возьмись, Онисимова окружили провожающие. В зале поджидали еще несколько его давних сотоварищей, вместе с ними пошли в особую правительственную комнату. Как-то вдруг вся она заполнилась. Более полусотни человек съехались в этот неудобный рассветный час проводить Онисимова.

Будто одетые по форме, почти все они носили, как и Онисимов, мягкие тёмные шляпы. Андрюша, согнавший наконец сонливость, с интересом озирался. Коекого из съехавшихся он знал в лицо, иногда по воскресеньям встречал их в подмосковном поселке, где, как положено, одна дача была предоставлена Онисимову. Вон сосед по участку, седоусый, уже потерявший было здоровье, о чем свидетельствовала иссеченная морщинами кожа, министр моторостроения Семенов, три десятилетия протрубивший в индустрии плечом к плечу с Онисимовым. А там, с толстыми губами, с тяжелым, выбритым до блеска подбородком, богатырь сложением, заместитель Онисимова по главку, принявший у него дела.

Все здесь как будто разные и однако что-то в них есть общее. И разумеется, не только в шляпах. Да, тут сошлись работяги. И в отошедшие годы, и ныне они тянут, вытягивают взваленную на них ношу. С гордостью несут свое звание: кадры хозяйственного руководства. В газетах их называли еще так: бойцы за выполнение директив. Онисимов, впрочем, не пользовался этакими красотами стиля, предпочитая, как знает читатель, лаконичное определение: солдат партии. Избегая банальностей, автор всё же обязан здесь повторить ходячую истину, что людей такого склада в истории еще не было. Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять. Их де-

визом, их «верую» стало правило кадровика-воина: приказ и никаких разговоров.

Толки о близящихся переменах, о пересмотре, ломке прежних принципов строго централизованного управления, о ликвидации министерств, ведающих различными отраслями хозяйства, об инициативе мест, инициативе снизу, ими встречались настороженно. И, пожалуй, недоверчиво. Чем чёрт не шутит, видывали и не такое, пронесет. Конечно, смещение Онисимова было явным признаком, что надвигается нечто впрямь нешуточное, однако, бывалые служаки, его сподвижники, рассудили так: угодил-де Онисимов под горячую руку, переждем, всё утрясется.

И они пришли проводить Онисимова. Что же, разве не был он образцовым, лучшим среди них. Почти все сошедшиеся здесь, в правительственной комнате, так или иначе его выученики. Правда, иные воздержались. Насчет Серебрянникова, например, предположения жены, как видно, оказались верны. Не пожелав следовать за границу со своим прежним шефом, он уже и тут не соизволил появиться.

Вот прибыл пожать на прощанье длань Онисимова министр металла здоровяк Цихоня. Румянец во всю щёку и выпирающая верхняя губа, налезавшая на нижнюю, придавали ему вид простака.

Онисимов улыбнулся ему:

«Здравствуй.»

«Здравствуйте.»

Они издавна так друг к другу обращались, — один на 'ты', второй на 'вы'.

«Буду теперь издалека за тобой следить. И не сомневайся, позвоню, если узнаю, что не выполняешь план.»

«Хотелось бы, чтобы вы позвонили, когда выполню.»

Первый урок, полученный некогда от Онисимова, Цихоня, наверное, никогда не забудет.

Произошло вот что. В 1940 году Онисимов стал на-

родным комиссаром стального проката и литья, — тогда еще не было введено звание министра. Одного за другим он вызывал к себе начальников главных управлений, долгими вечерами и ночами досконально разбирал с ними работу разных отраслей стальной промышленности. Очередь Цихони наступила скоро. Он в ту пору ведал Главтрубосталью. С виду недалекий, благодушный, наделенный, однако, недюжинной энергией, наблюдательностью, памятью, сметкой, он спокойно ожидал вызова к новому наркому. Все заводы Главтрубостали выполняли план. Главк в целом дал за последний квартал сто два процента программы. Когда нарком, уже прослывший строгим, наконец, пригласил Цихоню, тот уверенно, ничуть не волнуясь, зашагал к нему. Поздоровавшись, следуя короткому 'садитесь', Цихоня уселся, безмятежно созерцая красиво прорезанные, будто бесстрастные глаза, классически прямой с чуть раздвоенным кончиком нос своего нового шефа.

«Приступим», сказал нарком.

Доклад Цихони был недолог, достижения Главка не нуждались в пространных комментариях. Онисимов произнёс:

«Что же, пройдемся по заводам.»

Цихоня перечислил заводы, назвал цифры, всюду дела были благополучны.

«Так. Теперь по цехам.»

Оказалось, что кое-где некоторые цехи отстают.

«Почему?» спросил Онисимов.

Цихоня слегка затруднился. Положение в цехах он представлял себе не вполне отчетливо. Всё же в течение полутора-двух часов разговора вопрос о работе цехов был более или менее прояснен. Цихоня полагал, что беседа на этом закончится. Однако Онисимов неумолимо сказал:

«Теперь по печам.»

«По печам?»

«Да. И затем по станам.»
«Но дело в том, что... Я этого не знаю. Этих сведений у меня нет.»
«Не знаете? Что же вы тут делаете? Для чего вы тут сидите? За что вам выдают зарплату?»
Начальник Главка, еще только что довольный собой, был нещадно высечен. Круглые его щёки уже не румянились, а багровели. Онисимов продолжал свой допрос-экзамен:
«Как идет реконструкция Заднепровского трубного завода? Укладываетесь в график?»
«Да. Но беспокоюсь, что некоторое оборудование запаздывает.»
«Какое?»
Цихоня дал обстоятельный точный ответ.
«Покажите график доставки оборудования.»
«Я это, товарищ нарком, знаю на память.»
«На память?» протянул Онисимов. «Какой же срок ввода в эксплуатацию вам указан?»
Цихоня без затруднения назвал срок.
«Где это задокументировано?»
«В постановлении Совнаркома от 12 мая 1938 года.»
«Неверно.»
Цихоню прошиб пот.
«Нет, товарищ нарком, я не ошибаюсь. Постановление от 12 мая.»
«Неверно», повторил Онисимов.
Его бритая верхняя губа приподнялась. Жёсткая улыбка приоткрыла крепкие белые зубы.
«Неверно», сказал он в третий раз. «Не постановление, а распоряжение. Память-то, как видите, вас подвела.»
Не однажды еще Онисимов муштровал, школил начальника Главтрубостали.
Великая война наново его, Цихоню, проэкзаменовала, как и всякого иного. Из-под носа у немцев был вывезен уникальный трубный завод Заднепровский. Цихо-

ня оставался там, пока не был погружен последний состав. И лишь с этим составом уехал. Минометные стволы, трубочки самого малого диаметра для авиации, мощные трубопроводы для развёртываемых на Востоке предприятий — всё это давали и давали заводы Главтрубопроката, Главтрубостали, которыми попрежнему командовал Цихоня. В конце войны вслед за Тевосяном, за Онисимовым и он был награжден звездой героя. Уйдя в комитет, Онисимов передал ему свое место министра. Признаться, имелись и не менее достойные кандидатуры, однако Цихоня, сохранивший во всех передрягах вид простака-увальня, доброго малого, пожалуй, был самым покладистым, оставался послушен во всём главе Комитета. А Онисимов не терпел возражений. Думается, это была его слабость. Впрочем, быть может, тут лишь выразилась черточка времени: он и сам никогда не прекословил тем, кого был обязан слушаться, но зато вспыхивал, обрывал, если какой-либо подчиненный отваживался ему перечить. В молодости, — а он уже в тридцать лет стал начальником Главка, — Онисимов еще умел слушать и принимать возражения, но затем перестал выносить людей, которые с ним не соглашались. «Делай мое плохое, а не свое хорошее», — нередко повторял Онисимов. Единственным, кому дозволялось противоречить Онисимову, был в свое время Алексей Головня, — первый его заместитель. Однако, перейдя десяток лет назад в свою новую резиденцию, — в здание Совета Министров, — Онисимов вместо себя на посту министра оставил Цихоню. И по-прежнему вникал в разные мелочи, тонкости безостановочного металлургического производства, столь же оперативно, как и раньше, — это было его страстью, — управлял стальной промышленностью.

Еще какие-то мгновения они, Цихоня и Онисимов, посматривают друг на друга, безмолвно вспоминают прошлое. А что же в будущем? Как знать, как знать, может быть, и доведется опять вместе поработать.

Андрюша стоит рядом с отцом, неприметно проводит кончиками пальцев по ворсу отцовского пальто. Он, диковатый, думающий мальчик, как бы со стороны наблюдает за этим сборищем министерских высших служащих, за воротилами и тружениками индустриальных штабов. Нет, сам он не сможет стать таким, да и не тянет его к этому, — с сыновьей гордостью видит: ими признаны, чтутся заслуги отца.

В поместительную, но ставшую сейчас тесноватой комнату входят ещё и еще люди, отмахавшие сюда из Москвы по сорок километров на машинах лишь для того, чтобы обменяться поклоном, рукопожатием с Онисимовым, пройти вместе с ним к самолету.

На дородном, порозовевшем лице матери мальчик подмечает удовлетворение. Она вежливо кивает входящим. Немало друзей — не друзей, но товарищей мужа, так сказать, однополчан индустрии, явились выказать ему уважение.

Андрей замечает: ещё кому-то вежливо кивнула мать. В эту сторону взглянул и Онисимов. На его лице ничего не выразилось, хотя он узрел, что провожать прибыл и Серебрянников. Так сказать, соблаговолил. А тот, никого не толкнув, благопристойно пробирается к Онисимову, почтительно глядя голубыми навыкате глазами.

Онисимов мгновенно оценивает появление Серебрянникова: не означает ли оно, что незримая стрелка некоего незримого барометра указывает на «переменно»? И сухо здоровается со своим бывшим ближайшим сотрудником. Серебрянников с достоинством отходит, останавливается в нескольких шагах от четы Онисимовых, каждый может видеть, что и он исполняет свой долг — провожает Онисимова.

Онисимов кладет руку на плечо Андрюши. Мальчика волнует эта прощальная скупая ласка. Он на миг приникает щекой к рукаву отцовского пальто. Конечно, Андрюша и не подозревает, что тринадцать лет назад он, в те дни лишь годовалый, был как бы участником

некоего события, после которого отец возвысил, приблизил Серебрянникова.
Пожалуй, расскажем и эту историйку. Так или иначе, где-то в нашем романе ей надо найти место.
...Итак, 1943 год. На втором этаже наркомата, — этаже, недоступном рядовым сотрудникам, — где размещались нарком, его заместители и члены коллегии, был устроен бесплатный ночной буфет. Как известно, продовольствие в это суровое военное время выдавалось в тылу только по карточкам. Однако, работники, продолжавшие в наркомате и после полуночи свой рабочий день, могли воспользоваться этим спецбуфетом, выпить стакан-другой чаю или кофе, съесть один-другой бутерброд. Это дополнительное питание не было нормированным, но Онисимов подавал пример умеренности. Всякий раз, когда в буфет стараниями начхоза, общительного Филиповского, знавшего, как говорится, всю Москву, попадали яблоки или икра, или копченая красная рыба, Онисимов неумолимо распоряжался отослать в детский сад такого рода лакомые редкости. Сам он неизменно ограничивался чаем и одним бутербродом. И лишь сигарет забирал помногу.
Как-то, проходя коридором к себе в кабинет в предрассветный час, он заприметил молодого референта, чинного Серебрянникова, показавшегося из дверей буфета. Почудилось, будто референт вздрогнул. Вздрогнул и остановился на пороге, уважительно уступая путь наркому. От острого взгляда Онисимова не укрылось, что при этом он заложил, спрятал руку за спину.
«Покажи, что ты там держишь?»
Серебрянников покорился. В его руке оказался аккуратно завернутый в пергаментную бумагу объемистый кубик.
«Что это?»
«Сливочное масло.»
Уже в то время Онисимов не сдерживал свою вспыльчивость, вспыхивал, как спичка. Он гневно прокричал:

«Как вы посмели?»
Это обращение на 'вы' уже заключало приговор. Было известно: Онисимов мог простить какую угодно аварию, но не спускал нечестности, нечистоплотности. Серебрянников, потупившись, молчал.
«Вот на что вы способны.»
Мертвая тишина водворилась в буфете. Все, кто находились там, прислушивались. Референт по-прежнему не отвечал.
«Идите за мной», скомандовал нарком.
И, не оглядываясь, быстрым шагом направился в кабинет. Там у него сидели Алексей Головня и два директора завода. С виду сохраняя спокойствие, без каких-либо суетливых движений вошел в кабинет со своим злосчастным свертком и лупоглазый референт.
«Положите на стол», произнес Онисимов.
Серебрянников тотчас исполнил повеление. Нарком закурил. Его била дрожь негодования.
«Использовать свое положение ради этого куска. Как вам не стыдно.»
Виноватый молчал. Это упорное молчание еще больше раздражало Онисимова.
«Что вас толкнуло на такую подлость?»
Серебрянников вымолвил:
«Я могу это вам сказать лишь наедине.»
«Говорите сейчас, у меня нет с вами секретов.»
Серебрянников лишь отрицательно повел лысой головой.
«Вон!» крикнул Онисимов. «Сегодня же вы будете уволены, как бесчестный человек!»
Не пытаясь ни единым словом защищаться, референт под презрительным, безжалостным взглядом наркома покинул кабинет.
Примерно час спустя Онисимов закончил разговор с директорами, отпустил и Головню. И потянулся к трубке внутреннего телефона, чтобы позвать к себе начальника отдела кадров. Следовало сегодня же, Онисимов

слов на ветер не бросал, — сформулировать и подписать приказ об изгнании Серебрянникова из наркомата, как мелкого, гнусного самоснабженца. Однако вспомнилось: 'Я вам могу сказать лишь наедине'. Чёрт с ним, выслушаю его, справедливости ради.

И вот, немногословный референт вновь у наркома. Теперь они в кабинете вдвоем. Брусочек в желтоватой пергаментной бумаге, уже чуть подтаявший, по-прежнему возлежит на столе.

«Ну-с, могу вас выслушать. Хотя сомневаюсь, чтобы вы нашли оправдание вашей пакости.»

Серебрянников негромко проговорил:

«Ваша жена позвонила мне. Попросила взять ей это для вашего ребенка.»

Наступила очередь промолчать и для Онисимова.

«Ступай», сказал, наконец, он. «И никогда больше так не делай.»

Серебрянников, поклонившись, повернулся, но нарком еще задержал его.

«Возьми это», Онисимов указал на сверток, «отдай в буфет.»

Так поступил Онисимов. Он остро любил своего Андрейку, целовал, приезжая домой, крохотное тельце, но не заимствовал для сына из спецбуфета хотя бы кусок масла.

Месяца через два после этого случая Онисимов назначил лысого референта начальником своего секретариата. Помимо других, свойственных ему достоинств, Серебрянников удовлетворял и требованию, которое Онисимов не раз строго высказывал: аппарат не должен болтать. В дальнейшем нарком так привык к своему доверенному, что однажды в его присутствии разрешил ироническую реплику в адрес, — читателю придется простить нам и этот канцеляризм, — в адрес своей Елены Андреевны.

Как-то еще в те времена, когда рабочий день Онисимова неизменно заканчивался лишь в четыре, в пять ча-

сов утра, она позвонила ему в кабинет после полуночи. Ограничившись в последовавшем телефонном разговоре несколькими односложными ответами, он положил трубку, посмотрел на стоявшего с бумагами пристойного Серебрянникова и вымолвил:

«Деловая женщина. Заработалась за полночь.»

Так он сыронизировал. Но только единственный раз. Подобных шуток больше никто от него не слышал...

Вот в депутатской комнате аэровокзала чуть ли не в последнюю минуту появился быстроглазый, загорелый, чему-то смеющийся Малышев и черноволосый, с белозубой улыбкой Тевосян, — два заместителя председателя Совета Министров СССР. Впрочем, насчет Тевосяна упорно поговаривали, что начавшиеся перемены коснуться и его. Вероятно и он будет направлен заграницу. Уже называли и предназначенную ему миссию: посол в Японии. И всё же хотя его положение и впрямь было непрочным, он приехал проводить недавнего товарища, крепко, без слов, пожал руку Онисимова.

Предводительствуемые девушкой, одетой в изящную, сшитую по фигуре тёмно-синюю форму Гражданского воздушного флота, все они — Онисимов, маленькая его семья, несколько улетающих с ним работников посольства, гурьба провожающих, — пройдя через особый вход, шагают в рассветной мути по освещенному рефлекторами мокрому лётному полю к белеющему невдалеке, красивому ТУ-104.

Путь пересекает, заставляет на минуту остановиться, осторожно ползущая автоцистерна. Онисимов оборачивается. Туда же, на вереницу провожающих, посматривает и Елена Андреевна. Даже не переглянувшись, супруги понимают друг друга. Получилась ведь своего рода небольшая демонстрация. Можно сказать, и наверное так скажут: демонстрация солидарности. Бойцы за выполнение директив, вышколенные государственные люди, решились проводить снятого, смещенного Онисимова, пройти вместе с ним толпой, если не колонной,

по аэродромному плацу. Конечно, пределы дозволенного ничуть не нарушены. Но все-таки... Все-таки колеблются, колеблются еще весы истории. И пока что неизвестно, грянет ли ликвидация министерств. Быть может, поухает, поурчит гром, и угомонится. И Онисимова вновь призовут в индустрию.

Путь освобожден, все двигаются дальше. Вот и трап, ведущий к дверце самолета. Дальше провожающих не пустят. Онисимов обеими руками машет всем, потом обращается к сыну:

«Ну, Андрюша, до свиданья.»

«Папа, я тебе буду высылать книги. Все интересные новинки.»

«Куда мне все, но некоторые посылай.»

«Хочешь, я тебе подберу самые лучшие труды по мировой истории? И ты изучишь там историю.»

«Идет. А про новые времена извещай в письмах. Хорошо?»

Андрей вдруг привстал на цыпочки, тянется к уху отца, задорная улыбка морщит губы мальчика. Понизив голос, он говорит:

«У новых времен еще зубки не прорезались.»

Онисимов опять, не в первый раз уже, с удивлением взирает на сына. Тих, тих, а иногда выложит такое, что хоть разводи руками. Неужели и он, этот беленький мальчик со вздернутым носом, уже всё понимает?

Кто-то из аэродромного персонала вежливо просит Онисимова подняться в самолет. Он чмокает в щеку жену, целует сына, вновь машет обеими руками всем, кто ради него сюда приехал, взбирается по трапу и, обернувшись напоследок, скрывается в кабине самолета. Посадка продолжается еще минуту-другую. Шагают, шагают по ступенькам пассажиры. Но вот отодвинут трап, дверца задраена, ТУ-104 тяжело трогается, выруливает на стартовую дорожку.

Вскоре летящий самолет уходит по своему курсу...

Скажем лишь несколько слов о том, как складывался на новом месте быт и рабочий день Онисимова.

Равнодушный к уюту, он обитал один в пустынной трехкомнатной квартире, обставленной отличной новой мебелью. Ни одну вещь он не велел переменить, ни одну не переставил по-своему. Расположенная на втором этаже здания посольства, эта квартира была соединена дверью с кабинетом, который таким образом являлся как бы четвертой, личной комнатой посла и вместе с тем, уже служебным помещением. Огромный портрет Сталина, написанный маслом во весь рост, красовался над письменным столом, — источали блеск звезды на груди и на погонах, сияли сапоги, а руки, сложенные на животе, лишь подчеркивали величие.

Уже свыше года истекло с дней Двадцатого съезда, где был развенчан скончавшийся кумир, но его бюсты и портреты, обязательные в каждом советском селении, в каждой конторе, пока оставались неприкосновенными. Наверху, как имел основание полагать Онисимов, не чуждый, понятно, партийных и государственных тайн, продолжалась скрытая от непосвященных борьба. И снова, как и при отлете из Москвы, зачастую чудилось, что некие весы истории, поколебавшись, замерли. Замерли, но ненадолго. С такого рода ощущениями и жил в те месяцы Онисимов.

Опять ровно в девять, минута в минуту, лишь не по московскому, а по здешнему, среднеевропейскому времени, он появлялся в кабинете. Онисимов и здесь носил черный в едва заметную полоску пиджак, — правда, новехонький, современного кроя, — белоснежную сорочку, скромный серый галстук. Лишь для приемов, подчиняясь этикету, он надевал сшитую в Москве визитку. Сохранил привязанность к сигаретам «Друг». В письмах домой он ничего не просил ему прислать, — только сигареты «Друг». Приглушая в себе ноющую нотку, — Онисимов не называл ее тоской, — он выкуривал по две, по три пачки в день. Выпадали промежут-

ки, когда запасы московских сигарет исчерпывались. Приходилось курить американские — «Кэмел», «Честерфильд». Кашель Онисимова, случалось, усиливался, стал каким-то лающим, натужным. Он объяснял это сменой табака.

Итак, ровно в девять он появлялся в кабинете, садился в кресло, надевал очки. И кресло рабочего дня сразу же набирало обороты, обретало полный ход. Прежде всего — почта. Затем — пресса. Между сотрудниками,— знатоками северной Европы, — были распределены все более или менее значительные, выходящие в Тишляндии и прилегающих странах газеты. Один за другим молодые помощники излагали Онисимову содержание газетных страниц, реферировали сегодняшнюю прессу. Некоторые важные статьи ему целиком переводили вслух.

Как всегда нетерпеливый, он раздраженно морщился, если сотрудник запинался, медлил, искал слов. Пожалуй, раздражительность Онисимова здесь даже усиливалась: непонятный внутренний зуд, — словно бы где-то в сосудах, в крови, — не давал покоя, хотелось вспылить, накричать. Онисимов себя сдерживал, лишь заметнее становилась дрожь, как бы беспричинная, его маленькой руки.

Прессе он посвящал два или три часа. Далее занимался подготовкой очередного большого приема. Ни один приглашенный в советский особняк не должен скучать, надо каждого занять, оказать ему внимание, поддержать с ним разговор.

Вот этот экономист... Кто прочел его труды? Почему это не сделано? Мы обязаны знать работы, выступления, биографии всех, кто придет в наши залы на прием. Двум своим советникам, приехавшим с ним из Москвы, Макееву и Новикову, инженерам-металлургам, которые свыше десятка лет потрудились в его секретариате, приноровились к напору, требовательности Онисимова, он говорил:

«Прием — это наша работа в цехе.»
Однако этой нагрузки, которую он сам создавал себе, в которую с обычной готовностью впрягался, хватало ему лишь до обеда. Что же делать дальше? Чем заполнить день? Он заставлял себя посещать выставки, музеи, осматривать столичные достопримечательности. Но оставался еще вечер. Нередко советского представителя приглашали на приемы. Облачившись в визитку, он ехал туда, — на свою вечернюю упряжку. И добросовестно ее выполнял: поддерживал или завязывал вновь знакомства, любезно улыбался, открывая красивые ровные, крепкие зубы, умел быть приятным, пошутить. Приходилось и выпивать рюмку-другую. Нельзя было отнекиваться, когда возглашался тост за здоровье короля или королевы.
Онисимов почти не выносил алкоголя, на утро после банкетов он вставал разбитым, чувствовал непривычное для него утомление среди дня.
И все же многие вечера оставались пустыми. В своей необжитой, словно временное гостиничное обиталище, квартире Онисимов отыскивал уже прочитанные московские газеты (они прибывали сюда на второй-третий день), шелестел листами «Правды», еще и еще вчитывался даже в мелкие заметки, чего-то искал меж строк, уносился мыслями в Москву.
Иногда он звонил Макееву:
«Приходи, сыграем в шахматы.»
Еще в мальчишескую пору Онисимов потянулся к шахматам, обнаружил способности и, быть может, одаренность в этих сражениях на шестидесяти четырех клетках. Но и тогда для игры у него почти никогда не бывало времени. А далее и подавно. Пожалуй, лишь в вагоне, выезжая с группой в командировку на восточные или южные заводы, он мог предаться любимому делу и два-три часа, покуривая, проводил за доской. Остро нападал, цепко защищался. Бывал глубоко уязвлен, если доводилось проигрывать. Втайне из-за этого

злился и, хотя старался подавить досаду, становился угрюмым, мог негаданно вспылить.

Макеев был его давним партнером. В чинной просторной гостиной, под люстрой, льющей холодный яркий свет, они расставляли шахматные фигуры на столике. Обычно отличающийся быстрой реакцией, отнюдь и в шахматах не тугодум, Онисимов среди партии вдруг задумывался. Макеев незаметно поглядывал на Онисимова. Тот размышлял явно не над ходом, куда-то смотрел мимо стола. Потом спохватывался, продолжал игру без вкуса, без агрессии, которая за шахматной доской была свойственна ему. Встревоженный вялостью Онисимова, преданный ему советник развивал азартную атаку, угрожал и, наконец, с облегчением видел, что Онисимов обретает себя, ищет защиту, наносит жестокий ответный удар.

Но снова выпадали минуты, когда Онисимов словно бы отсутствовал. В Москве Макеев не видел Онисимова таким поникшим, погасшим. Не болен ли шеф?

Однако, спрашивать об этом не полагалось. Онисимов недовольно отстранял всякие вопросы о самочувствии, о здоровье. Порой за шахматами он заговаривал про московские дела, про Комитет, оживлялся, вспоминал, как дрался с Госпланом за капиталовложения для развертывания рудных баз. Или, будто с кем-то споря, доказывал экономическую целесообразность сооружения металлургического комбината на Шексне. Макееву чудилось, что бывший министр, бывший председатель Комитета здесь, на далекой чужбине, опровергает чьи-то обвинения, стремится оправдать себя хотя бы перед ним, партнером в шахматах, скромным подчиненным. Случалось, Онисимов начинал вслух размышлять о готовящейся, еще не свершившейся перестройке управления промышленностью и, будто опять от кого-то защищаясь, отстаивал необходимость осторожности, но быстро осекался, пускал в ход тормоза.

И снова погаснув, замкнувшись, возвращался к игре,

доводя партию до конца. Прежнего удовольствия шахматы ему не доставляли. Даже победа — а деликатного Макеева он и теперь частенько побеждал — не радовала его.

«Александр Леонтьевич, час еще не поздний. Сыграем вторую.»

«Хватит. Спасибо. Пойду лягу, посплю.»

И Онисимов ложился в свою одинокую постель. Ложился необычайно рано, в десять, в одиннадцать часов и, привыкший десятилетиями гасить в Москве огонь под утро, конечно, не мог уснуть.

К снотворному не хотелось прибегать. В эти бессонные ночи он опять многое перебирал в памяти, думал и думал. Нет, не о северной Европе.

В июне этого же — 1957-го года — в столице Тишляндии предстояло некое событие: открывалась международная промышленная выставка. В Москве для поездки на выставку была оформлена группа инженеров и ученых. В состав этой своего рода делегации три места из шестнадцати принадлежали металлургам. Среди них находился и академик Василий Данилович Челышев, доменщик по специальности, который мельком уже фигурировал в нашей хронике.

Однако, прежде чем характеризовать дальше Челышева, позволю себе небольшое личное отступление. Мне довелось близко его знать, я пользовался его устными рассказами, советами, когда еще в тридцатых годах писал повесть о дерзновенном Курако, учителе Челышева. И недавно вновь имел случай убедиться, что сохранил его доверие. Он познакомил меня со своими дневниками, одним из главных источников или даже истоков этой летописи.

Накануне отъезда на выставку, Челышев, назовем, кстати, его тогдашнюю должность: директор научно-исследовательского центра черной металлургии и член Президиума Академии Наук, — понаведался, как это можно установить по его дневниковой записи, в министер-

ство стали. Среди дел, которые привели его туда, он упоминает лишь письмо-слезницу инженера Лесных. Несколько лет назад из-за этого Лесных, упрямо отказавшись применять в промышленности, в заводских масштабах, его изобретение — новый способ плавки, Челышев и заработал подписанный Сталиным выговор и, мало того, по приказу свыше был вытурен, как говаривал сам Челышев, из заместителей министра. А ныне, не угодно ли, тот же Лесных, потерпевший, как и следовало ожидать, страшный конфуз, осмеянный, ославленный, изгнанный с завода, выстроенного, чтобы плавить сталь по его способу, ищет защиты и заступничества у того же Челышева, просит взять под крыло науки, спасти хотя бы одну из остановленных, заброшенных его печей. Что же, надобно, ничего не попишешь, вступиться.

Нет сомнения, у Челышева имелись и еще разные дела в министерстве: они неизменно поднакапливались. Кроме того, он не прочь был тут услышать и напутствия на дорогу, пожелания, а заодно и последние новости и слухи, — этого не гнушался чуждый ханжества старик, — слухи, которые жадно ловила служилая Москва, гадающая: грянет или не грянет промышленная революция, то бишь, ликвидация министерства.

Челышев знал, что в чужеземной столице его будет расспрашивать Онисимов, хотелось привезти ему самые свежие, горяченькие вести.

Как обычно, машина Челышева подкатила не к главному подъезду, отмеченному золоченой надписью-вывеской под толстым стеклом, а к расположенному в переулке неприметному боковому входу, предназначенному для министра и членов коллегии.

Он поглядывает по сторонам, — не покажется ли в переулке кто-либо знакомый. Посмотрел и на соседнее многооконное здание — там, еще при Серго, он, заядлый заводской инженер, начал свое новое житье-бытье. Приглашая Челышева со знаменитого завода «Ново-

уральск» на работу в наркомат, Серго не нашел для него в штатном расписании подходящего звания и тут же учредил для него единственную в своем роде должность: главный доменщик Наркомтяжпрома. Этаким главным доменщиком советской металлургии Челышев, несмотря на разные превратности судьбы, остался и поныне.

Челышев входит в подъезд. Вахтер в форме, обязанный проверять пропуска, стоит у столика. Рука Челышева тянется в боковой карман за постоянным пропуском, но страж улыбается:

«Проходите, Василий Данилович». — Молодой чистенький солдат знает главного доменщика и с улыбкой смотрит, как тот не по возрасту легко берет ступени лестницы, устланной ковровой дорожкой.

У Челышева еще много сил. Частенько бывая в металлургических районах Востока и Юга, он лазает на колошники, спускается в скиповые ямы, исхаживает многие километры по заводской территории, по цехам, запускает глаз и на задворки.

Челышев шагает по широкому сумрачному коридору на второй этаж. По обеим сторонам виден ряд полированных дверей. Тут служебные обиталища заместителей министра. А дальше, в конце коридора, расположен отсек, где сосредоточены и секретариат, и приемная, и кабинет министра, и примыкающая к этому кабинету комната, где можно прилечь и поесть.

Неподалеку расположен и буфет. Сейчас дверь в буфет раскрыта, оттуда доносятся голоса и чей-то басовитый смех.

Раньше, когда министерство возглавлял Онисимов, можно было даже здесь, в коридоре, определить: на месте ли он. Напряженная тишина, изредка быстро, сосредоточенно пройдет какой-либо работник, если кто-нибудь и заговорит, то понизив голос, — значит Онисимов у себя. И всё несколько менялось, как только он уезжал: в коридоре прохаживались, гуторили, уже из

буфета полетели какие-то живые звуки. Но все же приглушенные. Даже и отсутствуя, Онисимов в те времена наводил тут строгость.
А теперь из открытых дверей буфетного зальца громогласно приветствуют идущего мимо Челышева. И поди-ка, угадай, пребывает ли сейчас в своем кабинете нынешний министр, жизнерадостный румяный Цихоня.

Двойная дверь, ведущая из приемной к нему, настежь раскрыта, — этим способом по неписанной инструкции принято сообщать, что кабинет пуст. Дежурный секретарь Валерия Михайловна, которую Челышев помнит в министерстве еще с довоенных лет, радостно встречает академика:
«Наконец, к нам заглянули. Только что звонил Павел Георгиевич (таково имя-отчество министра), сказал, что скоро будет. Проходите, Василий Данилович, располагайтесь у него.»
«Нет. Пока тут поброжу, потолкую с тем, с другим.»
«Может быть, кого-нибудь пригласить вам сюда?»
«Зачем? Сам отыщу.»
И все же он входит в кабинет, шагает по ковру серо-желтых тонов. При Онисимове тут не было ковров, он их относил к предметам роскоши, которые неуклонно изгонял из своего обихода.
Старик академик садится к столу, в одно из удобных кресел, — у Онисимова и кресла, помнится, были пожестче, — раскрывает папку, проглядывает бумаги. На глаза попадается и письмо, чёрт его дери, Лесных. Вот как пошутила жизнь. Невеселая шутка. Челышев не забыл: в тот далекий час странная дрожь затрясла пальцы Онисимова. Тогда, собственно, и развернулась вся эта невероятная история повышения, очень внезапного, а затем падения инженера Лесных, — одна из драм отшедшего времени, записанная в дневниках Челышева.

Это произошло пять годов назад — летом 1952-го.

Челышев сидел на этом же месте у стола и так же раскрыв принесенную с собой папку, что-то обсуждал с Онисимовым. И раздался тот памятный звонок по телефону-вертушке. Онисимов спокойно взял трубку, и вдруг красные пятна проступили на щеках. Он порывисто встал и далее вел разговор стоя. Челышев знал, что лишь перед единственным человеком Онисимов вот так вытягивался у телефона. Да, Онисимову действительно позвонил Сталин.

Челышев, естественно, слов Сталина не различал, слышал лишь ответы Онисимова.

«Да, слушаю Иосиф Виссарионович... Способ Лесных? Да, знаю.»

Онисимов нервно нажал несколько раз кнопку звонка в секретариат. На эти звонки-вызовы тотчас в кабинет вбежал Серебрянников, несмотря на поспешность, отнюдь не суетящийся, нимало не утративший постоянного благообразия. Онисимов четко отвечал:

«Да, Иосиф Виссарионович. Да, лично знакомился.»

Прикрыв раструб рукой, он прошептал:

«Сейчас же сюда всё, что у нас имеется относительно Лесных!»

Не переспрашивая, схватив приказание на лету, Серебрянников с той же целеустремленностью быстро исчез. Онисимов проговорил в трубку:

«Могу сообщить, что года два назад инженер Лесных обращался со своим предложением в министерство. Была произведена...»

Сталин, очевидно, его перебил. Онисимов мгновенно замолчал. Он слушал, выпрямившись, как и раньше: маленькая рука твердо держала телефонную трубку. Волнение по-прежнему пятнами жгло щеки, но небоязливый, сосредоточенный взгляд свидетельствовал о присутствии духа.

«Да, по его жалобе я сам разбирал. Была привлечена и авторитетная комиссия. Кроме того, дал заключение и Челышев.»

Только тут Челышев, наконец, вполне уяснил, о чем и о ком расспрашивает Сталин. Вначале как-то не укладывалось, что речь идет о том самом одутловатом, страдавшем одышкой человеке, который... Ну, Лесных, преподаватель из Новосибирска. Предложил способ выплавки стали прямо из руды, минуя доменный процесс. Объявил, что кокс более не нужен, что взамен минерального горючего будет служить электроток. С невероятным упорством, с маниакальной убежденностью, продвигал он свое предложение. Пробился к Челышеву. Отзыв Челышева был новым ударом, новым разочарованием для изобретателя. Челышев написал, что способ Лесных технически осуществим, но экономически нецелесообразен, так как чрезвычайно дорог. Это дело не нынешнего десятилетия. Пусть изобретатель, увлеченный своей выдумкой, возится, экспериментирует, некоторую разумную помощь ему надо оказать, эта работа, возможно, прояснит некоторые теоретические вопросы металлургии, но не следует — по крайней мере, в обозримой перспективе — рассчитывать на какой-либо практический эффект, на практическое применение способа Лесных в промышленности.

Настырный изобретатель не остановился и перед жалобой в ЦК партии. Оттуда жалобу и все материалы переслали министру Онисимову. Пришлось и тому рассматривать заявку Лесных, его чертежи и вычисления, а также многочисленные отзывы, отклонявшие изобретение. Онисимов проделал это со всей свойственной ему тщательностью. С карандашом он высчитал, что химизм процесса по способу Лесных, потребует практически недоступных температур. Если же реакция, паче чаяния, все же пройдет, то шлаки приобретут такую едкость, перед которой не устоит никакой огнеупор. Конструкция предложенной печи, как убедился Онисимов, изучив чертежи, тоже была несостоятельной, не устраняла, например, слипания руды, нисходящей в ванну. Его выводы были еще более категоричны, чем

заключение Челышева. Как-то в те дни он даже попенял Василию Даниловичу:
«Вы проявили мягкотелость. Лишь по доброте могли вы написать, что способ технически осуществим.»
«Почему? Теоретически он мыслим.»
«Однако, мы с вами не сомневаемся, что из этой затеи ничего не выйдет. Так и следовало сказать, никого не обнадеживая.»
«Да пускай он там копается.»
«Не нам это решать. Он работает не в нашей системе, а в министерстве высшего образования. Не думаю, чтобы оно нуждалось в наших невинных пожеланиях.»
И вот два года спустя вдруг Сталин спросил по телефону об инженере Лесных. Как могло это случиться? Каким образом предложение Лесных проникло к Сталину, сквозь нескончаемые заграждения?.. Прислушиваясь к объяснениям Онисимова, Челышев вспомнил некие смутные толки о том, что ведомство лагерей, подчиненное Берия, занятое проектированием гигантских гидроэлектростанций в Восточной Сибири, подкинуло какие-то средства Лесных на его опыты.
Разговор по телефону продолжался. Безмерное уважение к собеседнику по-прежнему читалось в крайне внимательном лице, в неподвижности выпрямленного корпуса. Стоя как бы по команде «смирно», при этом однако не вскинув голову, — она казалась втиснутой в плечи еще глубже, чем обычно, — Онисимов не пытался уклониться от прямых ответов. Не следует думать, что ему было чуждо умение ускользать. Однако эта способность будто бесследно испарялась, когда к нему обращался Сталин. Сугубая точность, пунктуальность бывала тут не только делом чести, святым долгом, но и щитом спасения для Онисимова.
«Как инженер не могу поддержать, Иосиф Виссарионович, этот способ.»
«Нет, не был информирован. Впервые сейчас об этом слышу.»

И тотчас справился со своим смятением, вернул хладнокровие:
«Была проведена серьезная экспертиза. Я, разумеется, несу полную ответственность. Кроме того, как я вам уже докладывал, этим занимался и товарищ Челышев. Он, кстати, сейчас здесь у меня сидит.»
Челышев понимал, что Онисимов стремится получить передышку, хотя бы несколько минут, чтобы опамятоваться, оправиться от какой-то страшной неожиданности, затем достойно ее встретить. Этот ход удался. Онисимов протянул трубку Челышеву:
«Иосиф Виссарионович вас просит.»
«Товарищ Челышев? Здравствуйте». Телефон как будто усиливал его всегдашний резкий грузинский акцент. «Вам известно предложение инженера Лесных о бездоменном получении стали?»
«Да.»
«Что вы об этом скажете?»
«Поскольку я с его замыслом знакомился, могу вам...»
«Сами знакомились?»
«Да.»
«Так. Слушаю.»
«На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предложение практической ценности не имеет. В промышленности применить его нельзя.»
«То-есть, дело не имеющее перспективы. Я вас правильно понял?»
Что-то угрожающее чувствовалось в тоне, еще как бы спокойном. Челышев ответил:
«В далекой перспективе мы, может быть, действительно, будем выплавлять сталь только электричеством. Пока же...»
«И изобретателю, следовательно, не помогли?»
Пришлось помолчать. Челышев не хотел заслоняться строчками своего заключения — изобретателю-де надо оказать небольшую разумную помощь, — не хотел подводить Онисимова. А ссылка на другое министерство,

ведавшее преподавателем Лесных, казалась и вовсе чиновничьей, претила Челышеву. Сталин, однако, не позволил ему избежать ответа.
«Так что же, не помогли?»
Челышев буркнул:
«Не знаю.»
«А я знаю. Вы с товарищем Онисимовым не помогли. Вместо вас это сделали другие. И хотя вы придерживаетесь взгляда, что изобретение практической ценности не имеет...» Сталин выдержал паузу, словно ожидая от Челышева подтверждения. «Я вас правильно понял?»
«Да.»
«Тем не менее, у меня на столе, товарищ Челышев», голос Сталина стал звучать жёстче, «лежит металл, лежат образцы стали, выплавленные этим способом. Я вам их пришлю. Вам и товарищу Онисимову.»
Челышев понял, — вот к какому известию относилось восклицание Онисимова: 'Впервые сейчас об этом слышу!' Челышев тоже лишь теперь услышал эту новость.
«Выплавить-то можно», сказал он. «Но, сколько это стоило?»
«Почти ничего не стоило. Плавку провели в лаборатории Сибирского политехнического института. Помощниками товарища Лесных были несколько студентов.»
Опять в кабинет бесшумно вбежал Серебрянников, держа две папки. Онисимов их почти выхватил, стал быстро листать, поглядывая на Челышева, разгадывая если не по его взору, то по мимолетным теням на сухощавом лице, о чем говорит Сталин.
Серебрянников встал за спиной Онисимова, слегка к нему склонился и, как прежде, не утрачивая достоинства, был наготове для дальнейших поручений.
«А посчитать все-таки бы надобно», сказал Челышев. «К тому же, печь пришла в негодность, кладка сгорела.»
«Кто вам сообщил?»
Челышев позволил себе усмехнуться:

«Не маленький. Могу сообразить. Но это, Иосиф Виссарионович, было бы не страшно, если бы...»
Сталин нетерпеливо перебил:
«Зачем подменять мелочами главное? Разве что-либо значительное рождается без мук?» удовлетворенный своей формулой, он помолчал. Затем опять обрел медлительность. «Главное в том, что новым способом выплавлена сталь. А остальное приложится, если мы будем в этом настойчивы. Не так ли?»
Уловив прорвавшиеся в какое-то мгновение раздраженные или, пожалуй, капризные интонации Сталина, Челышев не дерзнул возражать. А возражения просились на язык. 'Зачем подменять мелочами главное?' Так-то оно так, но когда-то вы, товарищ Сталин, не чурались мелочей. И допытывались, выспрашивали все подробности. А ведь способов прямого получения стали из руды предложено уже немало и у нас и в мировой металлургии. И каждый способ — это мелочи, тонкости, подробности. 'Будем настойчивы'. Нет, не всё в технике, в промышленности можно взять только настойчивостью. Сначала надо иметь верное решение.
«Таким образом, вы совершили ошибку, товарищ Челышев», Сталин помедлил, дав время Челышеву воспринять тяжесть этих слов. «Но поправимую. Давайте будем ее поправлять. Этот металл нам нужен. Это сталь коммунизма.»

Признаться, Челышев заколебался.
Когда-то, в декабре 1934-го, он, вечно насупленный главный инженер «Новоуралстали», держал речь в Кремле, приветствовал Сталина. Приветствовал от лица сотоварищей, участников той встречи, да и от всех металлургов, которые впервые в истории России выплавили десять миллионов тонн чугуна в год.
Челышеву за два или три дня сообщили об этом предстоящем ему выступлении. Он лишь буркнул в ответ: «Ладно.»

Оратором он был никудышным. В устных преданиях, что еще и ныне заменяют не написанную никем историю отечественной металлургии, отмечено его выступление на митинге новоуральцев по случаю пуска первой домны. Каждый оратор, по обычаю тех времен, заключал речь здравицей, выкрикивая, например: 'Да здравствует великий Сталин!' и тому подобное. Челышев же, огласив, или, верней, пробормотав несколько цифр, характеризующих мощность построенной домны, самой большой в Европе, ее вооруженность механизмами, тоже под конец речи рявкнул: 'Да здравствует!' Ему хотелось сказать: 'Домна номер первый', — она, эта могучая печь, была его любовью, его страстью, воистину делом его жизни, — но постеснявшись, он так и не закончил своего возгласа. Проорал: 'Да здравствует' и к этому ничего не добавив, умолк.

Время от времени в печати появлялись его статьи. Каждую из них, собственно говоря, делал, исполняя поручение редакции, тот или иной журналист, разумеется, сперва задав Челышеву ряд вопросов, занеся в блокнот его высказывания. Политическое «верую» Челышева было лишено какой-либо двусмысленности. Одушевляя свои домны, распознавая, как подчас казалось ему, их язык, понимая их жалобы, желания, ощущая себя как бы их депутатом, представителем, Челышев являлся сторонником советской власти, сторонником партии, совершавшей небывалую индустриализацию. Единожды решив это для себя, он затем предоставил журналистам уснащать его статьи политическими фразами, нередко размашистыми или пустыми. Изготовленные за него статьи он легко подписывал, исправлял лишь неточности, относящиеся к технике, к его инженерной специальности.

Вот такому-то оратору и поручили сказать приветственное слово Сталину.

По брусчатке Красной площади Челнышев шагал среди других металлургов к Спасским воротам Кремля.

«Ну, как, Василий Данилович, приготовили речь?» — спросил его кто-то из спутников.
«Какую речь?.. Я ведь от всех буду выступать. Прочту, что дадите. И всё...»
Лишь тут для него выяснилось, что никакого общего приветствия не составлено, что ему, уже прожившему полвека инженеру, строителю Новоуралстали, заслужившему честь говорить от имени своих товарищей, предстоит высказаться собственными словами. Как же это так? Через десять-пятнадцать минут он встанет перед Сталиным, а в мыслях нет никакого плана речи.

Вот Челышев уже поднимается вместе со всеми по лестнице Кремлёвского дворца. Никто не говорит громко, мягкие ковры, разостланные на ступеньках, глушат шум шагов. Смутно ощущая эту особую торжественную тишину, Челышев сосредоточивается, стремясь усилием воли и мысли выделить самое существенное, самое главное из того, что он пережил и передумал.
В зале он уселся в углу, но его отыскали, нашли ему стул впереди.
Первые, обращенные к Сталину слова он произнес, опустив голову и запинаясь. Однако удивительная искренность делала речь сильной.
«Под вашим руководством, товарищ Сталин, создана промышленность, вы совершили революцию в технике, о которой мы, старые инженеры, едва могли мечтать не только в целом, но и в частностях. История промышленности не знает подобного примера ни в сроках, ни в обстановке, а главное, в методах, в приемах. Это революционно с начала и до конца.»
Тогда-то Челышев и приподнял голову, заглянул прямо в глаза Сталину, — неискристые, лишенные живой игры.
В глубине души Челнышев сознавал: нехорошо, недостойно превозносить человека в лицо, но уступил уже общепринятой в те годы манере, стилю времени, усту-

пил, не погрешив против своей инженерной страсти, совести: у него, выстроившего наконец завод по планам и заветам Курако, было немало оснований благодарить Сталина.

Сталин и тогда, после той речи Челышева, сказал ему в ответ:

«Вы ошибаетесь, товарищ Челышев.»

Прохаживаясь, глядя в затихший зал, Сталин с минуту помолчал. Для Челышева это была минута мучения. Легко ли услышать от Сталина: 'Вы ошибаетесь'. А тот длил мучения Челышева. Затем повторил:

«Вы ошибаетесь. Партия не могла одна провести работу, о которой вы говорили. И тем более неправильно приписывать её мне, скромному ученику Ленина.»

Повернувшись к Челышеву, он с улыбкой добавил:

«Вместе с партией в этой работе участвовали и беспартийные специалисты, такие, как вы.»

Так Сталин ввернул комплимент, что, кстати скажем, делал не часто. Челышев в тот миг ощутил смутную неловкость. Показалось, что он втянут в какую-то неискреннюю и ненужную игру, которая нравилась Хозяину. Впрочем, это ощущение быстро развеялось. Он же по совести излил свои чувства.

Вот и теперь Сталин сказал: 'Вы совершили ошибку'. Чёрт знает, может быть, и впрямь он схватил своим гением, чутьем нечто такое, чего не узрел, не понял Челышев? Схватил и повелел: 'Такой металл нам нужен. Такой способ будет жизненным'.

Онисимов меж тем распахнул папку чертежей, вынул, развернул лист кальки — общий вид печи Лесных. Оба — и Челышев и Онисимов — взглянули на этот чертеж, потом взоры повстречались. На миг в зеленоватых серьезных глазах Онисимова просквозила боль, затем снова выказалась крайняя сосредоточенность, напряжение мысли. Конечно, нелегки были ему эти минуты.

Сейчас зашаталось его положение, всё его будущее. Разумеется, и Челышеву не поздоровится. Но, к чёрту ко-

лебания. Он, академик Челышев, обязан сказать Сталину: эта печь не пригодна для промышленности, для промышленных масштабов. И делайте со мной, товарищ Сталин, что угодно, но никогда я вас в заблуждение не вводил, скажу и теперь, что думаю. Однако, опять заговорил Сталин:

«Поручаю вам, товарищ Челышев, этим заняться. Нужна дальнейшая научная разработка и технологическая доводка металлургического процесса, предложенного товарищем Лесных. Потом займетесь проектом завода для получения стали по его способу.»

«Если такие заводы начнем строить, то...»

Всё же Челышев не закончил фразу, замялся, ощущал даже по телефону, как давит воля Сталина.

«Что вы хотели сказать?»

«Не возьмусь, Иосиф Виссарионович, за это. Не верю в этот способ.»

«Ну, как знаете.»

«Не верю и не могу.»

«Как знаете», сухо сказал Сталин. «Дело ваше». Он еще подождал каких-то слов Челышева. Но не дождался. «Передайте трубку товарищу Онисимову.»

Сжав маленькой рукой черную пластмассу телефонной трубки, Онисимов снова встал навытяжку:

«Слушаю вас, Иосиф Виссарионович.»

В этом возобновившемся диалоге между генералиссимусом и министром Челышев опять мог внимать лишь одной стороне.

«Разрешите, Иосиф Виссарионович, доложить. Предложение товарища Лесных рассматривалось трижды. Комиссия под председательством доктора технических наук профессора Богаткина...»

Сталин, видимо, оборвал Онисимова, срезал его каким-то безапелляционным замечанием. Некоторое время Онисимов сосредоточенно слушал, повторяя:

«Понятно. Понятно.»

Затем произнес еще раз:

«Понятно». И добавил: «Будет исполнено. Да, под свою личную ответственность.»
Эти слова были тверды. Глаза Онисимова уже не выдавали мучений. Челнышев тотчас понял: Сталин вверил Онисимову судьбу изобретения, — того изобретения, которое Онисимовым же было отвергнуто, — поручил лично ему, министру, ведать дальнейшей разработкой способа и постройкой завода с печами Лесных. И Онисимов без запинки ответил: 'Будет исполнено'. Прежние его возражения уже будто и не существовали: повеление Сталина он воспринимал, как непререкаемый высший закон.
«Слушаю, Иосиф Виссарионович, записываю.»
Сталин из своего кабинета продиктовал сроки, предоставил восемнадцать месяцев для возведения нового завода в Восточной Сибири для выдачи первой промышленной плавки по технологии Лесных. Затем, как понял Челышев, вернул Онисимова к списку, которого ранее, несколько минут назад, не захотел слушать.
«Сейчас, Иосиф Виссарионович, вам прочитаю.»
Мгновенно отыскав в подшивке нужный лист, Онисимов огласил одну за другой фамилии членов комиссии, единодушно утвердивших отрицательное заключение по поводу предложения Лесных.
«Всех снова включить? Слушаюсь. Кого? Записываю. И представителя Енисейэлектро? Будет назначен товарищем Берия? Слушаюсь. Понятно!»
Так завершился разговор. Зловещее имя Берия вплелось в самую завязь этого будущего огромного, как скомандовал Хозяин, предприятия.
Трубка положена. Онисимов опустился в кресло, взглянул на Серебрянникова, всё еще стоявшего за спиной, сказал:
«А ведь и он там сейчас сидел.»
Благообразный начальник секретариата на миг прикрыл глаза. Понял и Челышев, кого следовало разуметь под этим «он».

Руководствуясь дневником Челышева, а также некоторыми другими материалами, мы можем с достаточной долей достоверности представить, как в данном случае произошло вмешательство Сталина. Да, пластинки металла, выплавленного упорным Лесных в лабораторной печи, принес Сталину Берия. Конечно, этот приближенный уже дряхлеющего единовластителя ранее не ведал, что где-то в далёкой Сибири, работники проектируемой грандиозной гидростанции «Енисейэлектро», которую тоже предстояло воздвигать управлению лагерей, подбросили некоему фанатичному изобретателю малую толику средств, как говорится, наудачу. Подобные мелкие затраты были вне его, Берия, масштаба. Но об опытной плавке ему доложили. С блестящими тонкими пластинками металла, — изобретатель дал ему название первородной стали, — полученного из руды путем электроплавки, особой технологии, отменившей применение кокса, да и весь доменный процесс, Берия пошел к Сталину. И не только с пластинками, но и с исчерпывающими доказательствами, уличающими Онисимова в том, что он душил изобретение. Наконец-то настал час, которого Берия выжидал годами и десятилетиями: Онисимов подставил себя под удар, немилосердный удар Сталина.

Отливающие благородным блеском серебра тонкие пластинки легли на письменный стол генералиссимуса. Он исподволь обдумал, подготовил ещё одно великое дело своей жизни, вы́носил план индустриального наступления в Восточной Сибири. Новое небывалое строительство, сооружение беспримерных по мощи гидростанций, станет точкой приложения бурлящих, бунтующих сил молодежи, подвигом поколения. Вместе с тем, неисчислимые колонны заключенных тоже найдут там применение. Правда, ученых беспокоило, что будущие потоки электроэнергии окажутся в избытке. Где же взять потребителей? Как повысить энергоёмкость тяжелой индустрии?

А между тем, оказывается, уже есть электропечь, которая будет выплавлять сталь, не нуждаясь в коксе, уже есть и металл — вот он, на столе, — полученный от этой печи. Выслушав Берия, раздраженный Сталин тут же поднял трубку, набрал номер Онисимова.

Итог разговора читателю известен. Сталин, вопреки чаяниям Берия, не расправился с Онисимовым, который, отшвырнув свои прежние соображения инженера, занял единственно спасительную для него позицию солдата: 'Будет исполнено'. Причем, поступил так не из-за того, что утратил мужество, нет, из убеждения всей жизни, уже действовавшего автоматически, чуть ли не с силой инстинкта: превыше всего дисциплина, верность Сталилину, каждому его слову, указанию. Да и Сталин, в свою очередь, не сомневался, что Онисимов, — пусть он отрицал изобретение, когда оно шло, напирало снизу, — теперь лучше, энергичнее кого-либо иного сделает всё возможное, чтобы внедрить в промышленность способ Лесных. И не тронул, не отбросил прочь Онисимова.

К побледневшему лицу Онисимова постепенно возвращалась обычная легкая коричневатость. Близкая грозная опасность не увлажнила его лоб, даже и лёгкая испарина не проступила у корней приглаженных светло-каштановых волос.

Серебрянников скромно удалился, оставив Челышева и Онисимова наедине. На столе в беспорядке, словно после сражения, покоились две раскрытые папки с бумагами, относившимися к изобретению Лесных, и косо расстеленный лист кальки — общий вид печи.

Неодобрительно мотнув головой, Челышев договорил то, что не отважился выпалить Сталину:

«Если такие заводы будем строить, без штанов будем ходить.»

Онисимов ничего не ответил. Привычно потянулся к неизменной пачке «Друг», взял в рот сигарету, чиркнул спичкой и... Что такое? Огонек заходил, заплясал в

дрожавших его пальцах. Удивленный, он, не прикурив, загасил спичку. Приказал пальцам не дрожать. Но и следующая спичка тоже вибрировала в его руке. Глаза были ясными, небоязливыми, губы твердо сомкнуты, а вот руку била дрожь.

Таким было первое появление странной болезни Онисимова, этого словно бы беспричинного, неотвязного сотрясения пальцев, с которым не совладала медицина.

Прошло несколько дней с тех пор, как в министерство позвонил Сталин. И неизбежное свершилось. Онисимов пригласил Челышева в свой кабинет, протянул постановление Совета Министров СССР, подписанное Сталиным.

Маленькие глаза академика побежали по строчкам. Он сразу узрел свою фамилию... Челышеву объявить выговор и снять с работы. Что же, он этого ожидал. Ну, теперь можно прочесть все по порядку... Признать государственно важным изобретение Лесных... Электроплавка, исключающая доменный процесс... Министру Онисимову объявить выговор... Челышеву... Ну, это уже читано. Далее указывалась мощность и сроки, уже названные Сталиным... Приступить к выбору площадки в районе будущей Енисейской гидростанции. Одновременно вести техническую доработку... Ответственность возлагается лично на Онисимова. Особым пунктом изобретение Лесных причислялось к строжайше секретным... Принять меры, чтобы сведения о его способе не просочились за рубеж... Совершенно секретным было и само постановление.

Дойдя до подписи, Челышев хмыкнул и отложил бумагу:

«Получил, значит, по шее. В чем могу и расписаться, если это требуется. А затем и попрощаемся.»

«Прощаться с вами я не собираюсь. Хочу просить вас...»

Однако мысли Челышева еще притягивало постановление. Не дослушав, он спросил:

«Но вы-то, Александр Леонтьевич, как же? Неужели считаете это возможным?»
«Извините, не могу обсуждать этот вопрос.»
Но старик гнул свое:
«Один из нас тут легко отделался. И знаете кто? Я! А вам придется солоно.»
Онисимов не ответил. Челышев взглянул на него пристальней. Онисимов в эту минуту вновь показался ему измученным. Глаза, как всегда, остро блестели, но в белках залегла желтизна. Вновь хмыкнув, Челышев смирился, больше не затрагивал больной темы.
Кстати ворвалась и всякая живая текучка. Глухо протрещал телефон внутренней министерской связи. Оказалось, позвонил Алексей Головня, первый заместитель Онисимова, вот только чуть что ли ни сию минуту вернувшийся из командировки на Урал. Онисимов позвал его к себе:
«Да, да, Алексей Афанасьевич, сейчас же заходи.»
И вновь обратившись к Челышеву, повел речь о научно-исследовательском Центре металлургии, сказал, что прочит туда Челышева, предложил ему взять там начальствование. Академик сухо слушал.
Вошел, широко шагая, Головня, одетый в свой излюбленный полувоенный костюм.
Нет, тягаться в выносливости с Онисимовым он, некогда богатырь, здоровяк, неутомимый инженер-доменщик, все-таки не смог. Он нажил болезнь сердца, мерцательную аритмию. Бывало, сунув в рот таблетку, прикусив нижнюю побелевшую губу, он справлялся с внезапной резкой болью, но порой повторные приступы все же валили его с ног. Он проводил неделю-другую в больнице, опять поднимался, вновь впрягался в ту же лямку. Как первый заместитель, он дублировал всю работу министра, — тот мог в любую минуту уехать, Головня сходу перенимал все его дела и, кроме того, специально ведал заводами Востока.
Немало индустриальных побед было отмечено его уча-

стием. Случалось, Головня бросался на прорыв. Он наваливался коренником, упорно, умело тянул и вытягивал. Вытягивал, казалось бы, и гиблые дела.

Возможно, немногие краски, которые затрачены нами на его мимолетный портрет, создали превратное впечатление некоего славного папаши, добряка. Нет, Алексей Головня бывал и непреклонно жестоким, непрощающим. Его излюбленное ругательство 'барахольщик', обрушивалось, словно удар. Он, случалось, и сам предупреждал: 'Имейте в виду, у меня тяжелая рука'. Жестокость, немилосердность ради дела и вместе с тем природная мягкость, человечность — вот что сочеталось в нем, вызывало к нему не только уважение, но и чувство потеплей. И все же по своим деловым качествам он, согласно общему признанию, уступал Онисимову. Правда, инженерская жилка, понимание металлургических процессов, всяких тонкостей заводской практики, — это в нем, Алексее Головне, было основательно заложено и развито. Он по праву считал тут себя посильней, чем Онисимов. Головня и вырос на заводе, был сыном, самым старшим, доменного мастера. Однако в пунктуальности, в страстной привязанности к особого рода министерской работе, он не был, конечно, ровнею Онисимову. Перейдя по решению ЦК или, вернее, по велению Сталина, с предприятия в министерство, Головня тосковал по заводскому духу, так и не сумел за много лет разделаться с этой тоской. Он с удовольствием выезжал в командировки, стремился еще и еще задержаться на заводах, терпеливо выносил, хотя и был хорошим семьянином, разлуку с домом. И возвращался, словно бы испив живой воды, — сбросив некую тоску и толику лишнего жирка, посвежев.

Он и в ту минуту вошел помолодевший, загорелый, — его большой, что называется, картошкой — нос, по-мальчишески облупился. Пожалуй, особенно молодила Головню располагающая открытая улыбка, опять к нему вернувшаяся, — министерские будни, болезнь, бы-

вало, надолго стирали ее, делая его черты изможденными.
Поздоровавшись, он живо проговорил:
«Заезжал, Василий Данилович, и на Новоуралсталь, на вторую вашу родину. Там вас так и считают навечно новоуралсталевцем.»
Старик ничего не ответил. Онисимов сдержанно сказал:
«Садись, Алексей Афанасьевич, почитай.»
И без каких-либо пояснений подал ему постановление. Головня опустился в жестковатое кресло, достал очки, — они уже стали необходимы и ему, — внимательно, строка за строкой, прочитал подписанную Сталиным бумагу. Провел пятерней по еще вьющимся волосам. Исчезла его славная улыбка, глаза перестали источать веселый блеск, явственней проступили глубокие складки, пролегшие от увесистого носа к углам рта. Не позволив себе никакого восклицания, он лишь вздохнул. Такова была его не столь давно приобретенная манера, вызванная, вероятно сердечным недомоганием: работая, он время от времени тяжко вздыхал.
«Что же это за печь»? спросил он. «Как она действует?»

Онисимов, молча, вынул из стола чертеж печи, развернул, придвинул Головне. Тот всмотрелся ясными глазами инженера, еще раз взглянул на Онисимова, на угрюмого Челышева, опять обозрел разрез печи.
«Значит, руда будет сползать по этой плоскости?»
Онисимов кратко ответил:
«Чертеж у тебя, смотри.»
Привычным движением он взял сигарету, чиркнул спичкой. Челышев заметил, что огонек теперь не дрожал в пальцах министра, маленькая рука была тверда. Головня опять склонился над листом. Губы сложились так, будто он намеревался свистнуть. Но, разумеется, он не свистнул. Положил чертеж и ничего не произнес. Опыт, разум инженера-металлурга не оставляли сомнения, что предложенный новый процесс в лучшем случае потребует еще годов испытаний, терпеливой до-

водки. В лучшем случае... А возможно, от него придется вовсе отказаться, ибо в опытах выяснится, жизнеспособна ли, годна ли самая основа или суть изобретения. Перенести же одним махом, одним мановением новый процесс в промышленность, в заводской масштаб, пустить через восемнадцать месяцев завод, оборудованный печами Лесных, это... На ум Головне не пришла формула, ныне столь для нас обычная: каприз Сталина. Но все же Головня опять вздохнул.

Онисимов не продолжал разговора об изобретении Лесных. Он произнес:

«Ты, кажется, хотел рассказать про Новоуралсталь?»

Однако Головня не мог сейчас рассказывать. Его огорчила, расстроила обида, нанесенная Челышеву. Еще подростком, впервые проходя практику у домен, Алексей уже знал в лицо всегда насупленного главного инженера. И с тех давних пор в его жизни, а также и в сердце, некое место всегда принадлежало Челышеву, о котором, — так гласили заводские предания, — Курако, первый на Руси отчаянный доменщик, однажды сказал: 'Настоящий инженер!'

Открытая натура Головни не в силах была сейчас вторить Онисимову, говорить на другие темы.

«Если позволите, об этом после.»

«Ладно, успеется... Так вот, предлагаю Василию Даниловичу наш научный центр. Тем более, это его тайная любовь. Как на сей счет думаешь?»

«Насколько я знаю, даже не тайная.»

«Я бы пошел... Но опять мне там навяжут это». — Челышев кивком показал на чертеж и постановление, которые белели на обширном, не загроможденном бумагами столе.

«Нет», сказал Онисимов, «эту часть ваших обязанностей я, с вашего разрешения, возьму на себя.»

«Ну, ежели так...»

Онисимов довольно воскликнул:

«Отлично! Подвели черту!»

В пепельнице еще дымился его непогашенный окурок, а он уже потянулся к следующей сигарете. Опять он зажигает спичку. И — чёрт побери, — маленькое пламя мелко сотрясается, выдает начавшуюся вновь дрожь руки. Вот этак, исподволь, то как бы исчезая, то опять оживая, к нему подобралась эта странная болезнь.

Он не понимал ее истока. Но, скажем мы, еще никогда не переживал он такой страшной ошибки, — ошибки коллизии приказа с внутренним убеждением.

Доныне он всегда разделял мыслью, убеждением, то, что исполнял. А теперь, пожалуй, впервые не верил, — не верил, но все же приступил к исполнению.

Эпизод, который нам далее придется воспроизвести, тоже отмечен сравнительно подробной, занявшей почти три тетрадных страницы, записью в дневнике Челышева.

Местом действия опять был вот этот кабинет, где, как всегда в прежние времена, безукоризненно лоснился простор светлого паркета, а затем и пустынный, привыкший к строгой тишине коридор.

Челышев, уже месяца три назад ставший директором научно-исследовательского Центра металлургии, приехал в тот стылый ноябрьский денек в министерство, чтобы *согласовать* тут план работы, а заодно вырешить некоторые другие вопросы. Он прошагал прямо в приемную министра, кивнул в ответ на поклон поднявшегося со стула дежурного секретаря, буркнул:

«Можно?»

«Конечно, пожалуйста.»

Отворив полированную дверь, Челышев увидел, что попал на заседание. В первую минуту он не понял, какой предмет тут обсуждается. И что за публику собрал у себя Онисимов, вежливо улыбнувшийся Челышеву со своего кресла. Приподнявшаяся в улыбке впалая верхняя губа обнажила плотный ряд белых с кремовым отливом зубов. Открылись и выступавшие острые клычки.

Этот онисимовский характерный оскал был, как знал Челышев, признаком скрываемого раздражения. Челышев сразу же заметил и чью-то незнакомую, красиво посаженную голову, почему-то притянувшую взгляд. Однако, незнакомую ли? Где-то Челышев встречал это, вопреки седине, вовсе не старое, красноватое, будто только что с ветра, с мороза лицо. Слегка прищуренные, в сети морщинок, глаза с интересом вглядывались в главного доменщика страны. Э, так это же писатель. Депутаты Верховного Совета, в состав которого входил и Челышев, называли попросту писателя своим сотоварищем, этого депутата, Пыжова, автора нескольких снискавших признание и, несомненно, незаурядных романов.

Никак не ожидая встретить писателя, далекого от так называемых производственных тем, на заседании у министра стального проката и литья, Челышев не вдруг его узнал. Что же тут надо писателю? Впрочем, кажется, где-то промелькнула заметка, что писатель задумал новое произведение, провел несколько недель в семье сталевара на Урале. Да, да, это припомнилось Челышеву.

Кто же здесь еще? Два-три члена коллегии, несколько московских профессоров-металлургов, стенографистка за отдельным столиком и... Кто этот болезненного вида с отечным, лишенным румянца лицом, грузноватый мужчина, расположившийся в кресле напротив министра? Добротный пиджак вольно расстегнут, толстый зеленоватый свитер облегает туловище. На вошедшего этот человек даже не взглянул. Обращаясь к Онисимову, он недовольно говорит:

«Нет, как хотите, а мне московское представительство необходимо.»

Э, сейчас, наверное, министр влепит ему за такой тон. Капризные нотки никому здесь не дозволены. Однако с той же вежливой улыбкой, открывающей клычки, Онисимов терпеливо отвечает:

«Я — ваш московский представитель. Вам остается лишь приказывать.»
«Но не могу же я вас гонять по всяким пустякам. Меня это стесняет.»
«Напрасно. Любое малейшее ваше пожелание передавайте мне. И вы незамедлительно будете удовлетворены. Требуйте хоть личный самолет, вы его получите. А понадобятся, скажем, маленькие гвоздики, — поручайте тоже мне. Я лишь буду рад вам это доставить. Повторяю, я ваш агент снабжения, ваш представитель.»
Раздумывая, человек в расстегнутом пиджаке поглядел по сторонам. Глаза были, что называется, горящими. Пожалуй, его самой резкой чертой как раз и являлся такой необыкновенно сверкающий взор.
Конечно же это Лесных. Да, тот самый Лесных, которому было посвящено подписанное Сталиным секретное постановление. Лишь однажды, несколько лет назад, Челышев видел этого непризнанного, неприкаянного изобретателя, — Лесных пришел к академику жаловаться в обтрёпанном, заношенном до блеска костюме. И, разумеется, этак вольно в кресле не рассаживался, с этакой властностью не разговаривал. Но глаза как и сейчас маниакально сверкали.
Как ни удивительно, Челышев мог бы многое простить этому, видно, занесшемуся, заважничавшему инженеру единственно ради того, что тот сохранил такой взгляд.

Было время — маньяком считался и Челышев, неукротимо стремившийся выстроить завещанную Курако, невиданную еще в России, послушную человеку громадину-домну. Много лет утекло с тех пор, Челышеву дано было сполна удовлетворить свою инженерную страсть, он и сам стал затем иным, но вот этот редкостный блеск глаз, будто устремленных внутрь, в какую-то одну притягательную точку, вот этот блеск и теперь несколько примирял его с Лесных.
Еще секунду-другую старик-академик взирает из-под лохматых бровей на инженера, которому грозный ми-

нистр готов служить в качестве снабженца, доверенного лица для поручений. И еще сильней насупливается. Под Москвой, на опытном заводе научно-исследовательского Центра металлургии, — этому заводу Челышев уделял не мало времени, ежедневно наезжал туда, — была выгорожена площадка для Лесных, для его печи, привезенной на самолете из Новосибирска.
Челышев ни разу не заглянул в этот пролет, скрытый за стенкой из листового железа, — проходил мимо, не задерживаясь. Зато Онисимов появлялся не однажды на заводе, пропадал по многу часов у печи Лесных, сам, не привлекая Челышева, отдавал распоряжения директору завода, предоставлял все, что просил изобретатель. Наведывались к Лесных и профессора-металлурги из Москвы. Да вот же они и теперь тут заседают: худощавый, подтянутый Богаткин, непроницаемо посматривающий сквозь очки, и лысый, принадлежавший к племени жизнелюбивых толстяков, тут, впрочем, мрачноватый, Изачик. Они, два выдающихся авторитета в электро-металлургии, некогда были членами комиссии, которая единодушно и категорически отклонила предложение Лесных. Жестоким приказом Сталина они оба назначены теперь содействовать изобретению — дорабатывать технологию способа, который они отрицали.

Слава Богу, он, Челышев, в это не впутался. И ничего не желает знать про это дело. Так и не войдя в кабинет министра, лишь постояв у двери, он круто поворачивается и уходит.
Почти тотчас вновь открывается дверь кабинета, оттуда появляется писатель.
«Васи́лий Данилович!» — окликает он Челышева.
Приостановившись, академик оборачивается. Писатель быстро шагает, по-прежнему высоко, красиво неся свою седую голову. Походка пружиниста, по-мужски грациозна. Да и вся его осанка на редкость хороша: стан удивляет прямизной, плечи широко развернуты. Шерстяной серый в клеточку костюм безупречно сидит,

хотя брючные складки и отвороты пиджака, пожалуй, нуждались бы в утюжке. Однако, эта некоторая небрежность в одежде тоже привлекательна. На красном, словно у шкипера в старинных романах лице, — из-за этой красноты некий друг писателя дал ему прозвище 'малиновый кот', — видна смущенная улыбка. Странно, что у столь известного, даже, как говорится, прославленного писателя, к тому же и политического воителя, закаленного в потрясениях эпохи, отмеченного доверием Сталина, — доверием и, конечно, подозрительностью, — могла проглянуть эдакая неуверенная, как бы испрашивающая извинения, улыбка.

«Разрешите представиться, мы с вами, так сказать...»

«Ну, да... Я вас, товарищ Пыжов, знаю. И читал. Что же вас привлекло в нашу эпархию?»

«Решил писать роман о металлургах.»

«Как же дошли вы...»

«До жизни такой?» — подхватывает писатель.

И заразительно хохочет на высоких нотах, чуть ли не повизгивая. В чинной тишине коридора странны, небывалы эти звуки. Отворяется чья-то дверь, кто-то удивленно выглядывает и снова скрывается.

Тем, кто более или менее общался с писателем, знаком этот его сохранившийся с юности заливистый смех. Но синие — в прошлом удивительно чистые, яркие, а с годами побледневшие — глаза Пыжова сейчас не смеются. Да, за ним эдакое водится: он хохочет и тогда, когда ему вовсе не весело. Порою таким смехом, что почти неотличим от настоящего, он прикрывает жизнь души, затаенную нескладицу.

Как бы смаху оборвав свой хохот, писатель становится серьезным, объясняет:

«Ведь я молодым человеком учился в институте стали. Имел серьезные намерения, хотел стать инженером. Но ушел со второго курса, выбрал, так сказать», Пыжов нередко, особенно в минуты даже и легкого смятения, употреблял это 'так сказать', «в спутницы жизни дру-

гую профессию. С Онисимовым знаюсь еще с тех пор. Уже и тогда ребята говорили мне: напиши что-нибудь про нас... И вот только теперь потянуло написать и о них, нынешних металлургах. Видите, у меня есть тут какие-то корни. Да и охота испробовать, так сказать, на своем горбу, что это за штука — производственный роман.»

Пыжов говорит, а синие глаза захватывают облик Челышева, его втянутый рот, крутой изгиб ноздрей, выпирающие бровные дуги, — схватывают взглядом художника, уже решившего писать это лицо, этот характер.

Несомненно, Пыжов выложил Челышеву правду о себе. Однако лишь поверхностную. Впрочем, знал ли, уяснил ли сам писатель глубокую правду о себе? Предугадывал ли недалекую уже — рукой подать — последнюю трагическую страницу своей жизни? Но не будем и тут забегать вперед.

Возможно в следующей повести, если мне удастся ее написать, мы еще встретимся с Пыжовым, одним из интереснейших людей канувшего времени. Пока же законы композиции, соразмерности главных кусков произведения позволяют уделить ему лишь немного места.

Перед самим собой, да подчас и перед товарищами по профессии, писатель не скрывался: он замыслил новую вещь (уже было известно ее звучащее вызовом название 'Сталелитейное дело'), также и для того, чтобы дать пример и образец всей пишущей братии, проложить новый путь литературе.

И не только литературе. Беспокойное честолюбие Пыжова, — он сам в какие-то минуты прозрения или, быть может, отчаяния проклинал эту свою роковую слабость, — охватывало, употребляя опять терминологию эпохи, весь фронт искусств. Писателю не терпелось первенствовать, вести за собой все художественные таланты страны. Вести за собой... Это для Пыжова означало: с блеском, с воинствующей убежденностью

доказывать, отстаивать, разъяснять точку зрения партии или, что считалось этому тождественным, требования, оценки Сталина. Еще в двадцатых годах, во времена страстных партийных дискуссий, однажды и навсегда уверовав в Сталина, а позже затаив и страх, иногда с мучительным стыдом это осознавая, он, коммунист Пыжов, даже запивая, или, как он сам красно говаривал, бражничая, — с ним это случалось все чаще, — бражничая и отводя душу в бесконечно грустных давних народных, а то и блатных песнях, никогда ни в большом, ни в малом Сталину не изменял. Ради этого иногда приходилось идти на сделки с совестью, ибо грозный Хозяин не отличался, как известно, тонким художественным вкусом и, признавая порой истинно сильные творения, тем не менее поощрял и мещанскую помпезность, и грубую, льстивую услужливость. А совесть-то у писателя была жива... Думается, тут мы притронулись к его трагедии.

О своем новом замысле Пыжов объявил на большом литературном вечере, устроенном в честь его пятидесятилетия. Медленно проводя обеими руками по красивым седым волосам, как бы их зачесывая, — таков был характерный жест Пыжова, — оратор, — сосредоточенно глядя куда-то в пространство, как бы выискивая самые чистые, проникновенные, точные слова, он произнес клятву, присягнул на верность Сталину. Его не звонкий в повседневности голос, вдруг обрел необычную звучность: 'Клянусь, буду до последнего дыхания верен его делу, его знамени, его имени'.

Чувствовалось, эта клятва — не пустые слова, примелькавшиеся в те времена. Волнение Пыжова, внутренняя дрожь, не оставшаяся скрытой, сообщили им силу. Видевший виды зал притих.

Некоторое время спустя писателя пригласил один из секретарей ЦК партии. Пыжов нередко наведывался в ЦК. Месяца три назад он вот так же был вызван к секретарю. Тогда проектировалось некое объединение

или своего рода Федерация мастеров литературы и других искусств. Секретарь между прочим спросил: 'Не откажется ли он стать там председателем?' Пыжов согласился без жеманства. И даже с воодушевлением. Собеседник усмехнулся: 'Любишь властишку-то?' 'Грешен, батюшка', — ответил Пыжов. И по своей манере захохотал на высоких, до фистулы, нотах. В дальнейшем Федерация литературы и искусства *не состоялась*. Вероятно, Сталин охладел к этой идее.

Теперь секретарь заговорил с Пыжовым про иное:

«Пишешь о металлургии?»

«Пока только примериваюсь. Еще весь в поисках.»

«А жизнь позаботилась тем временем дать тебе свою подсказку. Вот, Иосиф Виссарионович поручил ознакомить тебя с этим документом.»

С таким предисловием, — кратким, но в достаточной мере выразительным, — писателю было передано подписанное Сталиным решение Совета Министров о новом электро-металлургическом процессе, об изобретении инженера Лесных.

«Обдумай, не спеши», добавил секретарь. «А потом позвони, дай знать, сгодилось ли тебе это для романа. А то Иосиф Виссарионович вдруг невзначай спросит.»

Писатель, по собственному позднейшему признанию, сразу оценил документ, оказавшийся волею Сталина в его руках, мгновенно зажёгся. У него к этому дню уже накопились впечатления от нескольких поездок на заводы, образы заводских людей, — сталеплавильщиков, наметились некоторые драматические столкновения, но всё это еще оставалось зыбким, нестройным, неясным, было лишено как бы некоего главного узла или главной истории, куда стягивались бы все нити романа.

И вот, наконец, он ее получил — да еще как и от кого! Эту центральную историю, столь ему необходимую. И он тотчас — возможно, с быстротой мысли — увидел заново сложившуюся или, как говорится, выстроившуюся вещь, ее драматургию, ее философию. В тот же

день он занес в записную книжку: 'Ядро романа — переворот в металлургии. Небывалый революционный способ получения стали. Академик Ч., ученик знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не понял. Министр О., член ЦК, инженер-металлург, не разобрался, не понял. Дошло до Ст. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике'.

Увлекшись подсказанным ему не в счастливый час сюжетом, в самом деле поразительно эффектным, заключавшим редкие возможности обширной художественной панорамы, исполненной страсти, действия, борьбы. Писатель уже с заранее вынесенным приговором подошел в министерском коридоре к академику. Но совесть-то, как мы сказали, была в Пыжове жива. Наверное, ее голос был невнятен, и все же она выказалась в неловкой, как бы испрашивающей извинения улыбке, вдруг придавшей ему, именитому автору, зрелому деятелю, молодое обаяние. И хотя его творческая способность уже иссякла, угашаемая насилиями над совестью, загулами, — это тоже становилось трагедией писателя, — художник в нем еще не совсем умер.

Некоторые поклонники и особенно поклонницы писателя считали, что единственной некрасивой чертой в его наружности были великоватые, оттопыренные, постоянно красные уши. Однако Челышеву понравились именно они, эти уши лопухом, как бы вбиравшие в себя жизнь, ее шепоты, шумы.

Челышев слушал писателя без малейшего предубеждения. Наоборот, ощущал к нему расположение. Но буркнул хмуро:

«Что же вам от меня надо? Если вы насчет вот этих дел...» — он взглянул в сторону кабинета, где Онисимов вёл заседание.

«Да, да, да», — не скрывая интереса, зачастил писатель. Это пулеметное, поощрительное 'да-да-да' стало у него с годами машинальным или, лучше сказать, стереотипным.

«С Онисимовым вы об этом говорили?» — спросил в свою очередь Челышев.

«Еще бы, конечно!»

«Ну, и что же он? Сказал вам свое мнение?»

«А у него правило: мое мнение — это моя работа. И, пожалуйста, садись, смотри и суди сам.»

Челышев хмыкнул. Неужели Онисимов даже писателю, товарищу студенческих лет, не дал понять, не намекнул, что вся эта затея — постройка завода с печами Лесных — ничем иным не кончится, как только провалом? Да, видимо, не высказался, не открылся и перед другом юности.

«Хм... Если вы надумали писать про это дело...»

«Да, да, да.»

«То тут я вам не помощник. Считаю эту», он запнулся, но все же позволил себе выразиться грубовато: «эту заваруху несерьезной. И разговаривать об этом, извините, не буду.»

С беспощадностью, свойственной политике, писатель тотчас определил (и позднее внес в свою записную книжку): Челышев достиг своего предела, отстал на каком-то перегоне от мчащейся революционной эпохи. Но проговорил писатель так:

«Зачем же об этом? Я хочу порасспросить вас о Курако. И о временах, когда строилась Новоуралсталь. И о Серго...»

«За этим приходите, милости прошу. С кем-нибудь из металлургов-старожилов вы уже беседовали?»

«Да, повезло, попал в больницу». Опять на будто опаленном, обветренном лице проступает неловкая, детски виноватая улыбка: писатель-то знает, из-за чего его, бражника, не знающего края, порой неделями выдерживают в больнице. «Там на мое счастье лежал Головня. И каждый день он, так сказать, отбывал упряжку, рассказывал мне историю нашей металлургии в лицах.»

Пыжов снова хохочет на весь коридор, но глаза его невеселы.
Он уславливается с академиком о дне и часе будущей встречи. И возвращается на заседание.

Все еще сидя в знакомом кабинете, в просторной комнате, Челышев перебирает принесенные с собой бумаги.

Все эти годы он не желал впутываться в дело Лесных. Однако вместе с тем выдвинул перед научно-исследовательским Центром задачу искать действительный способ, истинный путь прямого получения стали из руды, то есть путь к бездоменной металлургии. Один из лучших учеников Челышева решился с его благословения стать бездоменщиком, исподволь сколачивал сильную группу для разработки этой темы.
Все же, конечно, вести о строительстве и затем пуске предприятия *почтовый ящик* № 332 (так был зашифрован сооруженный в Восточной Сибири для выплавки стали по способу Лесных мощный завод, стоимостью в 150 миллионов рублей) доходили к Челышеву. Он знал о непрестанных авариях, закозлениях, прогарах, о всяких переделках, реконструкциях возведенных печей, о бесчисленных командировках в распоряжение Лесных авторитетных производственников и людей науки, в том числе и тех же злосчастных профессоров Изачика и Богаткина, о поездках на завод Онисимова с бригадой специалистов.
Время от времени мелькали в печати сообщения о том, что писатель трудится над своим романом.
Шел 1953 год. В один мартовский день вдруг завершилась историческая полоса, забрезжила другая: умер Сталин. Смерть оборвала его последний период власти — период его старчества.
Однажды летом этого же года Челышев был приглашен на заседание Совета Министров. В повестке дня среди прочих вопросов значился доклад Онисимова: предварительные итоги создания жароупорных сталей для

реактивных двигателей. Заседание вел Берия, в чем-то переменившийся после смерти Хозяина. Пожалуй, он еще больше располнел, белые руки оставались, как и прежде, холеными, но безукоризненно выбритые гладкие щеки, ранее обычно лоснившиеся, будто потускнели, подернулись некой тенью озабоченности. Впрочем, держался он уверенно. Поглядывал голубоватыми с поволокой глазами сквозь голые, без оправы, стеклышки, подчас властно прерывал того или иного из выступавших, задавал вопросы или высказывал свои замечания и не ведал, думается, ни сном ни духом, что несколько дней спустя он, главный соучастник, главный исполнитель преступлений миновавшего времени, будет открыто обличен.

Подошла очередь и для сообщения Онисимова. Он как всегда кратко, точно, деловито доложил о ходе опытных плавок, о первых удачах, еще не вполне устойчивых, которые предстояло закрепить. Закрепить и идти дальше, к еще более прочным сталям.

Закончив сообщение он продолжал стоять, ожидая вопросов. Кто-то, занимавший место неподалеку от Берия, поинтересовался: каковы перспективы получения стали по способу инженера Лесных. Онисимов ответил:

«Никаких обязательств насчет этой стали я на себя взять не могу.»

Прозвучал тот же голос:

«Не понимаю. Имеется же постановление.»

«Постановление выполнено. Завод построен, принят правительственной комиссией, пущен. Акт подписан приемщиками и изобретателем. Все его претензии, пожелания удовлетворены. А технологией, согласно постановления, я там не распоряжаюсь.»

Вмешался Берия:

«Поскольку об этом зашла речь», веско, неторопливо заговорил он, «я обязан сказать, что в данном случае товарищ Онисимов был не на высоте. Сначала он просто

отверг предложение Лесных, а затем, когда выяснилась несомненная ценность этого изобретения, неизвестного мировой технике, занял позицию критически мыслящей личности, думал лишь о том, чтобы доказать, что способ Лесных неосуществим. Такое поведение было непартийным». Берия, как и прежде, без малейшего смущения поучал партийности. «Не партийным и не государственным. В результате дело приведено на грань провала.»

Онисимов, не перебивая, выслушал это назидание. Он издавна умел, если так подсказывало чутье, не вступать в схватку, уклоняться или, говоря точнее, владел искусством ускользания, но, случалось, бывал и отважен. Сейчас, впервые за много-много лет он принял вызов своего недруга.

«Я вам отвечу», — хрипло сказал он.

Бумага, которую Онисимов держал в руке, дрожала. Он, конечно, понимал, сколь силен был еще Берия, по-прежнему возглавлявший ведомство государственной безопасности, опиравшийся на подчиненные ему особые войска и, казалось бы, еще шагнувший вверх, когда сошел со сцены Сталин. Казалось бы... Однако острый ум, тончайший инстинкт уже подсказали Онисимову, что без Хозяина Берия пошатнулся. Ранее ведь только от Сталина исходила непомерная, ужасающая власть этого человека.

Отдадим же должное Онисимову: еще требовалось в тот день мужество и отвага, чтобы в открытую поспорить с Берия. Онисимов на это решился. Его причесанная с неизменной тщательностью голова, всегда словно вдавленная в плечи, теперь казалась вскинутой. Берия простер к нему свою белую руку, как бы указывая: садитесь. И пояснил:

«Вопрос о стали Лесных мы не обсуждаем. А на мои замечания, товарищ Онисимов, можете ответить в ответном слове.»

Но Онисимов твердо произнес:

«Нет, я должен ответить сейчас же. Я не позволю себя оскорблять. Я требую доверия, как член ЦК, как член Правительства. Да, я утверждал, что идея Лесных в основе порочна и не может получить практического осуществления. Эта моя оценка задокументирована. Но мне было приказано выстроить завод для плавки по способу Лесных. И никогда в позу критически мыслящей личности я не становился. Это клевета. Я создал инженеру Лесных самые благоприятные условия. Максимально благоприятные. Своего истинного отношения я нигде более не высказывал. Я был, оставался и останусь дисциплинированным, государственно мыслящим работником. И я всё сделал для Лесных, удовлетворял любое его притязание, хотя и понимал, что дело обречено на неудачу.»
Берия со своего председательского места бросил:
«Надо было не только создавать ему условия, но и вместе с ним доработать технологию.»
«Для доработки были привлечены лучшие научные силы. Но не доработаешь, если технология в основе неверна, теоретически безграмотна.»
Из-за зеленого сукна раздался еще вопрос:
«Что же, этот Лесных — авантюрист?»
«По-моему впечатлению, с жилкой авантюризма. Завод или плавки стали по его способу это, несомненно, техническая авантюра.»
Сидевший у стены Челышев проговорил:
«Скорее не авантюрист, а неудачник.»
Берия снова напомнил, что сегодня не обсуждается этот вопрос. Однако его уже ослушались.
«Сколько стоит эксперимент?»
Онисимов назвал цифру. Назвал с точностью до одной тысячи. За зеленым сукном кто-то крякнул. Прозвучал и еще новый голос:
«Пыжов, как будто, пишет про это?»
Пожалуй, лишь высокое партийное и правительственное положение Пыжова, уже всенародно объявившего

о новом своем замысле, делало допустимым здесь этот вопрос. Онисимов сдержанно ответил:
«Возможно. Полагаю, что это к делу не относится.»
«Ему-то свое мнение вы сказали?»
«Не считал себя вправе. Повторяю: получив приказание, своего истиного отношения не высказывал никому.»
На какие-то мгновения воцарилось молчание. Челышев вдруг ощутил жалость к Онисимову, сохранявшему под пронизывающими взглядами самообладание, как бы одетому в броню. Старик понимал, как мучился, терзался вынужденным своим двоедушием этот небоязливый, не терявший рассудка, хладнокровия в минуты опасности, преданный службе человек, со словно вычеканенным красивым профилем.
Сев, Онисимов машинально вынул из кармана коробку «Друг», повертел, положил перед собой, — курить в зале воспрещалось. Челышев посмотрел на Онисимова и вдруг усмехнулся. А вечером занес в свою тетрадь впечатления дня, уделив две строчки выведенному золотом на красном фоне короткому слову «Друг».

...Истекла еще неделя-другая. В один поистине знаменательный день Берия был низвергнут. Когда-нибудь историки, а возможно и писатели, в подробностях восстановят этот захватывающий эпизод. Мы же будем держаться своей темы. На завод, где главный технолог, он же и главный конструктор, Лесных тщетно пытался наладить выплавку в своих печах, отправилась комиссия министерства стального проката и литья — в ее состав, словно нарочно, опять были введены те же Богаткин и Изачик, уже люто возненавидевшие изобретателя, — затем еще одна, назначенная Советом Министров СССР.
Выводы и той и другой комиссии были, что называется, уничтожающими. Лесных уже именовался не иначе, как лжеизобретатель, чуть ли не мошенник, который ввел в заблуждение, обманул государство. Его способ

был объявлен попросту безграмотным, ничего не сулящим и в дальнейшем, кроме новых напрасных затрат. Комиссия Совета Министров выслушивала неоднократно и Онисимова. Глядя опасности в лицо, Онисимов сам потребовал расследования и оценки своей роли в этой тяжелой истории. И вышел из нее благополучно.

Совет Министров отменил некогда подписанное Сталиным постановление, предложил министерству прекратить опыты плавки по способу Лесных.

Что же дальше случилось с Лесных? Он волей Сталина, — правда, еще лишь под грифом 'совершенно секретно', — объявленный великим техником, автором революционного переворота в металлургии, был столь ошеломлен своим падением, что изгнанный с завода, опозоренный, был вдобавок сражен инфарктом миокарда. Далее последовал вторичный инфаркт. Затем и кровоизлияние в мозг.

И вот только теперь, когда и Онисимову пришлось распроститься с индустрией, уехать за границу, несчастный изобретатель, проведший без малого два года на больничных койках, обратился с письмом к академику Челышеву, просил сохранить хотя бы одну печь своей конструкции, как-то призреть ее в научно-исследовательском Центре металлургии.

С этим-то делом, а также и с другими, не отмеченными, однако, в дневнике Челышева, он и приехал к министру.

Так — долго ли коротко ли сидел Челышев в пустом министерском кабинете. Возможно, он вовсе и не вспомнил в те минуты про то, о чем мы только что поведали. Просто еще раз проглядывал бумаги в своей папке для предстоящей беседы с министром.

Из приемной, куда дверь рукой секретаря была деликатно оставлена полуоткрытой, но уже не отворенной настежь, — такого рода половинчатость тоже входила в неписанный закон, служила знаком, что хотя министр

и отсутствует, все же некий уважаемый посетитель пребывает в его кабинете, — из приемной доносится шумок, невнятный разговор.
Не министр ли приехал? Не его ли это раскатистый басок? Челышев встает, подходит к двери.
Действительно, в приемной стоит крупнотелый румяный Цихоня. Несколько человек ожидают приема. Все тоже стоят, как и министр. Он, еще не замечая академика, с кем-то недовольно разговаривает. А-а, перед ним Головня-младший, директор завода имени Курако, или попросту Кураковки. Министра он слушает с усмешкой, которую не назовешь почтительной. С такой же усмешкой, что может вывести из себя кого угодно, Петр Головня противоречил, случалось, и Челышеву. Для поездки в Москву Петр, разрешим себе называть его, младшего из братьев, лишь по имени, — явно приоделся. Светло-коричневый с красноватой искоркой костюм выглядит чуть ли не щегольским. Но волосы, в которых отливает рыжинка, с утра разумеется причесанные, успели слегка растрепаться. С виду Петр словно бы легок, но вместе с тем и тяжеловесен: мощна нижняя челюсть, сильна шея, да и вся стать, особенно сзади, с сутуловатой спины, кажется такой же медвежьей, как и у брата.
Цихоня укоряет Петра:
«Что же ты, Петр Афанасьевич, сразу адресуешься в ЦК? Не мог что ли придти ко мне? Или написать нам в министерство?»
Упрек звучит беззлобно. Нет и в помине резкости, неуступчивой остроты, — не передал этого Онисимов покладистому своему преемнику.
Петр отвечает:
«Как член партии использую свои права. И если считаю, что я прав, буду бороться до победы.»
«Господи, мы сами бы тебе все организовали.»
«Знаком, товарищ министр, с вашей организацией.»
«И по-твоему плоха?»

Петр не успевает ответить. Кто-то уже завидел в открытую дверь Челышева, поклонился ему. Цихоня оборачивается:

«Здравствуйте, Василий Данилович. Извините, задержался». — И вновь обращается к Петру. — «Экий ты... Ладно, посиди. Сейчас вот займусь с Василием Даниловичем. Потом с тобой...»

В кабинете министр усаживает академика в кресло, устраивается и сам не за столом, а в таком же кресле напротив.

Челышев без дальних слов открывает папку, которую привез с собой, говорит министру:

«Получил письмо от этого бедняги... От Лесных...»

«А... Где же он обретается?»

«Да почти два года скитался по больницам. Теперь немного, кажись, оклемался. Просит, чтобы я забрал к себе хотя бы одну из его печей. Что же, надобно взять.»

«Э, вы, сдается, поздновато спохватились. От его печей, сколько я знаю, и духа не осталось.»

«Как? Ни одной? Куда же они делись?»

«Дорога известна: в лом.»

«Хм... А маленькая, экспериментальная, которую он смастерил в Новосибирске? Он ее тоже с собой взял на завод.»

«Сейчас выясним точней.»

Подавшись к телефонному столику, Цихоня набирает чей-то номер.

«Иван Александрович, здорово. Тут у меня вопрос насчет Енисейского завода. Да, да, знаю, что ты там побывал. Осталось там что-нибудь от печей Лесных? Так, так... Даже сам присутствовал? Ну, а маленькая, которую он привез с собой? Тоже? Понятно. Ну, бывай, бывай...»

Положив трубку, Цихоня сообщает:

«Разрезали автогеном на куски и на переплавку.»

«И маленькую?»

«Всё подчистую. Уж очень злы были на этого Лесных!»

«Чёрт, азиатчина! Форменная азиатчина... Шарахаемся, как...» — Не найдя подходящего выражения, Челышев еще раз чертыхается.
Цихоня шутит:
«Это теперь вам материал для мемуаров.»
«Благодарю покорно.»
Ограничившись этакой репликой, — что еще скажешь? — академик переходит к другому вопросу. Некоторое время министр и Челышев еще занимаются разными делами. Неслышно открывается дверь, к столу подходит Валерия Михайловна.
«Василий Данилович, вас вызывают по городскому телефону. Будете говорить?»
Беспокойно заерзав, Челышев смотрит на часы. Хм, уже почти половина третьего. У него вырывается:
«Она?»
Валерия Михайловна понимает: 'она' — это жена Челышева, Анна Станиславовна. Старожилы металлургии знают, что еще во времена Новоуралстроя она в два часа дня неизменно звонила Челышеву в кабинет, или разыскивала его в цехах, приказывала идти обедать. И главный инженер разводил руками перед участниками разговора, обсуждения, объявлял перерыв, но Анны Станиславовны не ослушивался. Теряется он и сейчас:
«Скажите ей... Скажите, что уже уехал. Пожалуйста, Валерия Михайловна.»
Улыбнувшись, бывалая секретарша уходит. Есть чему улыбнуться. Удивительный этот Челышев. Не боялся аварий, побегов чугуна, взрывов у доменных печей, не испугался рассерженного Сталина, а перед женой трусит.
Челышев наскоро заканчивает свои дела. Прощается. Цихоня провожает почтенного посетителя в приемную. Там снова все встают, едва появляется министр. Этой субординации послушен и директор Кураковки, он тоже поднимается.
Челышев пожимает крупную пятерню Цихони. Да, вот

еще что. Надо же узнать, каковы новости насчет ликвидации министерств. И разразится ли она, эта нависшая гроза? Академик без стеснения спрашивает:
«Что же я скажу Александру Леонтьевичу? Уезжаю-то я из министерства, а что застану здесь, когда вернусь?»

«Министерство и застанете. Нас это не коснется», благодушно ответствует Цихоня. И добавляет: «передайте ему сердечный мой привет.»
Все, кто находился в приемной, в один голос присоединяются:
«И от меня привет.»
«И от меня тоже.»
Все? Нет. Петр Головня молчит. Улыбку и поклон Онисимову шлет и Валерия Михайловна:
«Скажите ему, что мы все ждем его в Москву.»
«Да, да», подтверждает Цихоня. «Ждем. И, глядишь, дождемся.»
Петр Головня по-прежнему безмолвствует. Рот плотно сомкнут. Серые, цвета стали, глаза непримиримы. Челышев невольно косится на него, этот взял курс и не вихляет. И, видно, ничего не забыл, ничего не простил. Еще раз кивнув всем, Челышев оставляет кабинет.

В столицу Тишляндии шестнадцать советских людей — делегация на международную промышленную выставку — прилетела вечером. Из аэропорта отправились на такси в отель.
Описание северного города, с его уютными особняками, внушительными оффисами, тянущимися к небу кирхами и католическими храмами, описание его вечерних огней; его магазинов и лавчонок, ресторанов, пусть останется за пределами моего рассказа.
На утро покатили в советское посольство. В приёмной не пришлось ждать ни минуты. Едва туда вошли, дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял улыбающийся Онисимов. Заблестевшими глазами он радостно смотрел на земляков, одетых в московские нещегольские

пиджаки, в широковатые не заграничного покроя брюки. «Прошу, товарищи, ко мне, прошу.»

В кабинете уже находились и несколько сотрудников представительства. Давно они не видели Онисимова таким воодушевленным. Даже и впалые щеки, в последнее время еще побледневшие, сейчас приобрели более свежую окраску. Казалось, приезжих встречал прежний, как бы заряженный электричеством, источающий энергию Онисимов.

В обширном кабинете гостям не пришлось тесниться. Один за другим они называли себя, здоровались с Онисимовым. Некоторых Онисимов уже знавал, общался так или иначе по работе, которая казалась теперь столь далекой, будто принадлежала некой иной, уже закончившейся, жизни Онисимова. Пожимая руки, находя для каждого несколько радушных слов, он всё поглядывал на Челышева, не торопящегося подойти к послу.

Длинный, с брюшком, не особенно, впрочем, заметным под лёгким светлым хорошо сшитым пиджаком, нет-нет посверкивающий зрачками-искорками, Челышев был тут, среди всех шестнадцати гостей, самым дорогим для Онисимова. Ровно тридцать два года назад, летом 1925-го, молодой Онисимов, студент-практикант, впервые увидел сумрачного, необщительного Челышева, главного инженера на едва теплившемся, разоренном заводе и с тех пор... Сколько раз с тех пор их сводило вместе дело, металлургия, которой оба они принадлежали.

Наконец и Челышев крепко пожал небольшую, подверженную непрестанной дрожи, руку Онисимова.

«Свежие газеты привезли?» — спросил Онисимов.

Нет, Челышев московских газет не захватил. И никто в группе не догадался сделать этого.

Челышеву, уже с первого взгляда заметившему, как изменился, исхудал Онисимов и сейчас подумалось: 'Не тот. Раньше всегда у него дело, только дело, а теперь газеты...' Однако тут же мелькнула и иная

мысль: 'Газеты для него, пожалуй, тоже работа'. И словно опровергая чьи-либо малейшие сомнения в своей преданности обязанностям по службе, Онисимов заговорил о делах, расспросил, как встретили делегацию тишляндцы, ладно ли товарищи устроились, указал куда следует съездить, наметил несколько интересных экскурсий, продиктовал маршруты, дал советы. Просил о нем не забывать, обращаться к нему с любым затруднением, рассказывать о поездках, о впечатлениях. Ему явно не хотелось отпускать гостей, которые еще лишь вчера ходили по тротуарам Москвы, но долг требовал иного.

«Вам, товарищи, дорог каждый час. Не имею права вас задерживать.»

Провожая группу приезжих, Онисимов тронул рукав академика:

«Заходите ко мне, Василий Данилович. Почаще заходите.»

Челышев увидел просящие глаза, совсем не онисимовские.

«Еще бы... Конечно, зайду.»

В день открытия выставки Общество промышленности и торговли устроило прием в честь советской делегации. Одетый в визитку, бледноватый, с четкой полоской пробора на массивной голове, Онисимов прохаживался по залам, которые заполнила толпа приглашенных. К нему подходили представители местной элиты, а также и дипломаты различных государств, он был внимателен, любезен с каждым, приветливая улыбка то и дело открывала его кремовые зубы, он, как обычно, располагал к себе отсутствием какой-либо чопорности, важности, обаянием простоты, которая была и высшей светскостью. В этом блистательном шумливом многолюдии он не мог улучить минутку, чтобы заняться соотечественниками. Со скрытой тоской изредка посматривал на них. Сейчас он не принадлежал себе, принадлежал своим обязанностям. Эта фраза, возникшая

в уме, вдруг кольнула его. Ведь раньше, в пронесшиеся десятилетия, во времена миновавшей своей жизни, он так бы не подумал, не сказал. Своим обязанностям — значило: себе. Одно от другого было тогда неотделимо.

То останавливаясь, то опять бродя в толпе, отвечая на поклоны, улыбаясь, вступая в мимолётные или более долгие беседы, он всё же разыскал Челышева. И опять попросил:
«Заходите же, Василий Данилович.»
Вскоре Челышеву удалось освободить вечерок, чтобы посидеть у Онисимова.
Онисимов впервые принимал здесь на дому, то есть в своей пустынной квартире, близко знакомого человека с родины. Из прихожей он повел старика в гостиную. Люстра, искусно выполненная из ничем не украшенной — требовал так новейший конструктивизм — полоски металла, смело изогнутой в виде острого зигзага, освещала низкие, броского контура, кресла и овальный стол. Поодаль, возле дивана, в очертаниях которого опять же соединялась простота и вычурность, приютился шахматный столик и два обыкновенных стула, несколько здесь странных. Сейчас на этом столике покоился телефонный аппарат. Оклеенные сиреневыми, лишенными рисунка обоями стены были голы. Предполагалось, что тот, для кого было отремонтировано, подготовлено это жилище, подберет несколько картин по своему вкусу. Однако равнодушный и здесь к убранству квартиры, Онисимов так и оставил в неприкосновенности наготу стен этой гостиной.
«Что-то тут у вас не пахнет русским духом. В кабинете, где вы нас приняли в первый день, мне было, с вашего позволения, вольготнее. Там хоть казёнщина, да наша.»
Онисимов тотчас откликнулся:
«Фу ты ну ты, мне тоже тут более всего приятен кабинет. Теперь вы мне дали право вас туда потащить.»
Гость подошел к окну, еще не задернутому занавесью.

Где-то вдали, резко смеялись, пробегали нерусские буквы неоновой рекламы, а выше, во мгле неба, виднелись неяркие звезды.

«Славно», буркнул Челышев.

Онисимов понял: Челышев был бы непрочь выбраться под звезды, посидеть, походить вдвоем в обширном, темнеющем парке посольства. Однако Онисимов, и прежде-то почти не знавший прогулок, здесь нарочито избегал выходить по вечерам на свежий воздух. Он заметил, что под открытым небом, после захода солнца его почему-то пронимает озноб. А затем, ночью, в постели, вдруг выступал, случалось, пот, сразу делавший мокрой рубашку. Ничего подобного с ним раньше не бывало. Правда, эта непонятная потливость ещё очень редко посещала его и то лишь — так по крайней мере казалось Онисимову, — если он бывал вечером на воздухе. Онисимов не придавал значения этим неприятным странностям, — не он один плохо переносил непривычно холодное здешнее лето. И всё же предпочитал проводить свободные вечера в четырех стенах. Кстати, под крышей и не очень разыгрывался кашель, на воле же Онисимов обязательно раскашливался.

«Сыровато», произносит он, глядя в окно.

Таков его ответ на невысказанное предложение Челышева.

«А не наплевать ли?»

Склонив на бок большую, словно бы тяжеловатую голову, Онисимов смотрит на красноватое обветренное лицо Челышева. Сколько же лет этому трехжильному доменщику-академику? Кажется семьдесят три. А Онисимову лишь пятьдесят четыре. Подмывает откровенно сказать: 'Для меня сыро'. Нет, Онисимов не разрешит себе жалобной нотки.

«Вы тут у меня на попечении, и извольте меня слушаться.»

Он ведет гостя в кабинет. Туда проникает сквозь окно

слабое свечение неба. Смутно поблескивает навощенный паркет. Различим запах табачного дыма. Она, эта комната, действительно излюбленная у Онисимова. Он с некоторых пор стал даже стелить себе здесь на ночь. И истребляя сигарету за сигаретой, всё же одолевал бессонницу, забывался в недолгом, неглубоком сне.

Маленькая рука Онисимова притрагивается к выключателю. Вспыхнувшее под потолком созвездие лампочек, озаряет увесистый, о двух тумбах, непричастный к мебельным модам письменный стол, телефонный круглый столик, громаду несгораемого шкафа, ещё один круглый стол, что служит подставкой огромному глобусу, пару кресел, обтянутых исчерна зеленой искусственной кожей, такой же обивки диван, несколько стульев, книжный шкаф, под стеклами которого видны тисненные золотом корешки Большой Советской Энциклопедии и различных справочников. На стене против дивана бликами электричества сияет написанный маслом портрет в золоченой раме. Стоя во весь рост, сложив руки на животе, одетый в форму генералиссимуса Сталин глядит перед собой. Сколько раз в часы бессонницы Онисимов словно встречался с ним глазами. И предавался своим думам, перебирая пережитое.

На письменном столе лежит забытая здесь коробка сигарет «Друг».

Челышев располагается в кресле, удобно вытягивает длинные ноги. Онисимов пристраивается рядом на стуле, подымливает табаком. Сначала они говорят о делах. Корректные тишляндцы под разными предлогами не пускали советских инженеров на свои металлургические предприятия, не показывали и судостроение. Онисимов пытался оказать воздействие, но и он натолкнулся на вежливый отказ. Пока что, как видно, не придется осмотреть металлургию Тишляндии. Но если наш брат, советский дипломат, здесь бездельничать не будет, то...

«Приезжайте снова через годок-другой. Возможно некоторые двери нам и откроются.»

Челышев встает, широким шагом идет к глобусу, медленно вращает большущий иноземного изготовления шар, по которому растекалась голубизна океанов, разбирает, не прибегая к очкам, нерусские мелкие и мельчайшие подписи. Нет, вряд ли он сюда вторично выберется. Надо и честь знать, другим тоже хочется свет повидать, а он, Челышев, наездился, пусть посидит дома.

Онисимов слушает с улыбкой. Конечно, наверху именно так и скажут, если через год-другой Челышев вдруг выскажет желание вновь посетить Тишляндию. Онисимову приятна такая откровенность гостя, его лишенный дипломатических околичностей тон. Этак же начистоту Челышев держался с ним и в канувшие времена. Ей-ей можно подумать, что он, Онисимов, разговаривает с Челышевым в далекой-далекой Москве, в своем кабинете в Охотном ряду. Вот только глобуса у Онисимова там не было. Опять его посасывает знакомая тоска, усилием воли он с ней легко справляется, продолжает слушать.

Челышев говорит о предстоящем всемирном конгрессе металлургов в Люксембурге. Намечена работа шести секций, в программе почти двести докладов. Десятка три сообщений готовят и советские металлурги. Он перечисляет важнейшие темы. Организационный комитет конгресса кое-что в нашей заявке с почтением сократил, лишь доменщиков не обидел. Дело понятное. Всем интересно, как же эти русские на своих домнах обставили американцев. Обзор доменного дела в СССР вынесен на пленарное заседание конгресса. С этим обзором выступит там Головня Петр.

Впервые в этот вечер тут произнесено имя Петра Головни. Уже назвав его, Челышев тотчас вспоминает: Петр Головня плотно сомкнул губы, ничего не произнес, когда министерские работники просили передать приветы Онисимову. Ну, а Онисимов? Нет, он никак не реагирует, даже ничтожная тень не пробегает по его лицу. Воз-

можно для него давняя стычка с Петром, — или, пожалуй, лучше сказать, схватка, — уже погребена под пеплом времени, не вызывает волнений. Что же, Челышев не намерен теперь вновь в это встревать. Опять раздается его стариковский глуховатый голос:

«Меня тоже в обиде не оставили. Буду председателем конгресса. Придется, может быть, сказать несколько любезностей великой герцогине Люксембургской. Боюсь, вдруг, чёрт побери, что-нибудь ляпну.»

И опять Онисимов дружески смотрит на него, немного склонив голову на бок. Академик вертит глобус, отыскивает крохотное государство Люксембург. Есть надежда, что делегаты конгресса поколесят по прилегающим странам. Ну, и он отведет, конечно, душу. Можно рассчитывать на поездки в Бельгию, во Францию, и к федеральным немцам. Эти господа, хоть и скрепя сердце, всё-таки нас пустят на один-другой завод. Ну, а в дальнейшем...

Челышев опять поворачивает глобус. В дальнейшем до чёртиков охота поглядеть Латинскую Америку. Прежде всего Кубу, затем Бразилию, Уругвай... Ну, конечно, на очереди снова и Соединенные Штаты, — хоть раз в десяток лет надобно туда наведываться, пошляться там у станков и печей, потолковать с заводской публикой.

И еще поворот глобуса. Сколько поездок предстоит Челышеву и по своей стране. Осенью он снарядится, наверное, в пески Казахстана, увидит своими глазами, каковы эти новооткрытые месторождения руд редких металлов. А Восточная Сибирь? Край, где расположится наша третья металлургическая база? Там надобно опять покружить всерьез... «Да, вот еще кстати о Восточной Сибири. Товарища Лесных-то доканали. Взашей выгнали с завода. Впрочем, это было, кажется, еще при вас. А потом все его печи разрезали автогеном на куски и вывезли на переплавку. Получил от него письмо, хотел помочь, но что можно теперь сделать? Зря оторвали человеку руки-ноги. Одну печку следовало бы ему ос-

тавить, пусть бы возился. Кому от этого было бы плохо?»
Онисимов невозмутимо слушает, не отвечает. Мальчишеским неожиданным движением Челышев заставляет глобус пуститься в бег, следит за его вращением.
«Значит, не ждите сюда вновь вашего покорного слугу. Во всяком случае в ближайшей семилетке.»
«Ну и молоды же вы», произносит Онисимов.
И опять в этих словах некий изменившийся, не прежний Онисимов.
Раньше он не заводил разговоров о молодости, о здоровье, о старении, а теперь...
Теперь Онисимов не удерживается от вопроса:
«Вам, кажется, семьдесят три?»
«Э, стукнуло уже семьдесят четыре.»
«Удивительное дело. Живой водой, что ли, умываетесь?»

Челышев со своей жестковатостью, откровенностью преспокойно отвечает:
«Старался, как-никак, держаться подальше от тех мест, где надо быть 'чего изволите'. Поэтому и от вас сбежал.»
Прежде Онисимов, наверное, не спустил бы собеседнику этакую реплику. Он умел мгновенно срезать и этого уважаемого доменщика, если тот излишне вольнодумствовал. Но сейчас спорить не тянет.
Онисимов молчит, откашливается. Кашель, однако, затягивается, — сухой, лающий, надсадный. Челышев ощущает жалость, насупливается, чтобы её скрыть. Не зря ли он, что думал, то и выпалил? Впрочем, почему, чёрт побери, он тут должен выбирать осторожные слова? С больным, что ли, он разговаривает?
С больным? Хм... Челышев исподлобья косится на Онисимова, уже справившегося с приступом кашля. Да, не хорошо выглядит Онисимов. Запястье, выглядывающее из-под накрахмаленного белого манжета, совсем тонкое, худое. А к желтизне лица, тоже исхудалого, словно бы примешан цвет золы. Однако это, быть

может, лишь игра освещения? Или вправду какая-то немочь точит, снедает Онисимова.

Челышев меняет тему, передает Онисимову кучу приветов из Москвы, называет одного за другим тех, от кого привёз сюда, в Тишляндию, добрые пожелания Онисимову. Беседа поворачивается в другое русло. Онисимов интересуется: каковы толки насчет будущей перестройки управления промышленностью. Да и произойдет ли она, эта перестройка? Челышев передает мнение румяного министра: 'Опять застанете нас в министерстве'.

Онисимов оживляется. Если о технике, о научных сообщениях на предстоящем конгрессе он слушал без огонька, то теперь входит во вкус, дотошно расспрашивает. Никуда не спеша, он как бы перебирает людей, которые ему были подначальны, вместе с которыми он управлял стальной промышленностью. Министр, заместители, члены коллегии, начальники главков, отделов, директора заводов, — его занимает весь этот широкий круг. Ему хочется знать позицию, точку зрения каждого относительно возможной ликвидации министерства. Видно, что страсти, волнения Онисимова, принадлежат прежней работе, уносят из Тишляндии в Москву, в министерство, в кабинет Комитета. Челышева же эти организационные проблемы, дело управления индустрией не очень занимают. Он тут не силен, может напутать, в чем без стеснения признается. Да и взгляды на сей счет того, другого, третьего он себе представляет неотчетливо. Однако порассказать, потолковать о них, сподвижниках Онисимова он, разумеется, не прочь.

Так они и сидят, поглощенные своим разговором, — Онисимов охотно слушает как судит-рядит академик. Немало вечеров они провели когда-то вместе, — то на заседаниях у Онисимова, то разбирая вдвоем какое-либо проектное задание или проблему технической политики, — но вот этак, без дела, не под рабочим напряжением, не под током, который ранее постоянно излу-

чал Онисимов, они гуторят впервые. Челышев примечает: бывший председатель Комитета рвется душой к поприщу, которое ему пришлось оставить, но волей-неволей уже интересуется этим как бы со стороны.
Да, ничего предпринять, изменить, совершить там Онисимов уже не в силах. А здесь длинными вечерами зачастую он ничем не занят, порой живет будто на покое. И телефон во время их беседы так ни разу и не зазвонил.
Уже заполночь Онисимов провожает гостя на нижний этаж к массивной входной двери. Потом, тяжело переступая, держась за полированные перила, возвращается по лестнице в свой кабинет.

Ровно через сутки, около часу ночи, в номере Челышева раздается телефонный звонок. Челышев, уже обрядившийся в пижаму, взял трубку:
«Ну-с...»
«Не спите?»
Академик с удивлением узнал голос Онисимова.
«Нет.»
«Извините, сам знаю, что поздно.»
Пауза. Челышев молча ожидает дальнейших слов Онисимова.
«Вы сможете сейчас ко мне приехать?»
«Что-нибудь стряслось?»
«Да... Факт свершился.»
«Хм... Хорошо, выезжаю к вам.»
«Посылаю за вами машину. Она будет ждать вас у подъезда.»
Быстро одеваясь, Челышев пытается угадать, что означает это ночное необычайное приглашение, эти слова: 'Факт свершился'. Неужели где-то сброшена атомная бомба и уже началась ужасная война? Или что-нибудь стряслось в Москве?
Онисимов встретил старика на широкой, слабо освещенной лестнице. Челышев пытливо взглянул на него.

Нет, по внешнему виду ничего не распознать. Исхудалую короткую шею облегает, как обычно, белый, жесткий воротничок. Точеное лицо, послушное сдерживающим центрам, привыкшее к маске бесстрастия, и сейчас не выдает переживаний. Пожалуй, лишь заученно любезная улыбка, машинально проступившая, неуместная в эту минуту, своеобразно свидетельствует о смятении. Маленькие глазки Челышева замечают и еще один признак волнения: левой рукой Онисимов сжимает правую.

Онисимов ведет гостя в кабинет. Плотно затворяет дверь. Приглашает сесть. Идет к несгораемому шкафу, отмыкает его двумя поворотами ключа, из темнеющего раскрытого зева достает папку, трясущуюся в его руке. Челышев ждет. Что же, что же приключилось?

Из папки Онисимов достает лист.

«Только что получена шифровка из Москвы. Можете прочесть. Факт свершился. Министерства ликвидированы.»

Челышев берет листок, читает сообщение о ликвидации ряда министерств, — все они перечислены, — ведавших промышленностью. Отныне их заменят организованные на местах Советы Народного Хозяйства. И что с того? Что тут потрясающего? Он вспоминает, как в 1923 году, получив постановление о консервации завода, где он был главным инженером, теплившегося и во времена гражданской войны, разорения, приплелся домой, ударил в неистовстве, в ярости ногой по стулу, прокричал: 'Завод закрыт!' Неужели и Онисимов сейчас ощущает такую же боль? Челышев бы не поверил, если бы не видел своим оком, что можно столь болезненно, столь страстно принять к сердцу судьбу министерств. Признаться, это и нам кажется невероятным. Всполошить среди ночи старика. И ради чего? Из-за вести об упразднении министерств? Удивительно. Однако именно так было.

«Ну, ликвидировано», говорит Челышев. «Чего же осо-

бенного? Металл будем выдавать и без министерств.»

«Боюсь, что расшатается технологическая дисциплина. И растеряем кадры.»

«Каких-то проторей, наверно, не избежим», соглашается Челышев. «На то и встряска. Но она, думаю, извините высказывание профана, исторически необходима.»

Он смотрит на сверкающий лаком портрет Сталина, нависший над письменным столом и продолжает:

«Уходит его эпоха. Мы с вами помним ее зарождение. Сами были не последними ее работниками. Потрудились, себя, кажется, не посрамили. Теперь на смену ей идет другая.»

Лохматые брови сейчас не прячут маленьких умных глаз. Онисимов молчит, закурив. Челышев излагает далее свои мысли:

«Естественно, сходят со сцены и министерства. Он их учредил, ему было так сподручней. К нему они и приноровились. А новая пора заводит свое новое. Думаю, это не к худому.»

Онисимов гасит, давит в пепельнице недокуренную сигарету. И опять тянется к красной коробке. Но, так и не коснувшись ее, поворачивает голову к портрету. И вдруг будто что-то отверзается в Онисимове:

«Не могу так рассуждать. Для вас он ушедшая эпоха. А для меня... Он меня спас. Буквально спас!»

'Хм, спас Сталин, от кого же?' — иронически думает Челышев. — 'Не от Сталина ли?'

«Э, разве суть в том, что спас?» — с неожиданной страстностью продолжает Онисимов.

Неверным, быстрым движением подавшись к распахнутому сейфу, он извлекает оттуда еще одну папку, переплетенную в коричневую, потускневшую от времени искусственную кожу. Откидывает верхнюю крышку. На свет появляется страничка блокнота, — береженная долгие годы, взятая в чужую страну. Онисимов передает ее вместе с папкой академику. Ясна каждая буков-

ка, выписанная каллиграфическим почерком Онисимова. Наискось размашисто брошены строки, принадлежащие иной руке. Подпись, словно бы свидетельствующая о прямолинейности, грубоватости солдата, лишена росчерков: 'И. Сталин'. Челышев легко разбирает: 'Тов. Онисимов. Числил вас и числю среди своих друзей. Верил вам и верю...'

«Это мой талисман», — не пытаясь прикрыться шутливой интонацией, выговаривает Онисимов.

Гость мысленно дивится. 'Э, чёрт побери, как дорожит Онисимов этой бумагой. Не решился с ней расстаться, захватил с собой в Тишляндию. Похоже, он и поныне живет прошлым. И, быть может, настолько сросся нервами, сосудами, костями с прежним временем, за которым, наверное, так и останется навек название сталинского, что уже не в силах примениться к новому, перенести смену порядков.'

Челышев, однако, не задает вопросов, — он, несмотря на давнее и, что ни говори, довольно близкое знакомство с бывшим министром, бывшим главой Комитета, все же испытывает, вопреки своему прямому нраву, некое стеснение беспартийного, которому не положено ведать партийные тайны.

Но Онисимова уже прорвало. Скрытая преграда, многими годами, десятилетиями замыкавшая его внутренний мир, вдруг словно распалась. И хлынула исповедь. Беспартийному Челышеву он поверяет все, о чем не рассказывал ни одному другу (впрочем, в его жизни давно нет места дружбе), товарищу по партии. Даже и с женой он оставался скрытным, не умел и ей отворить душу. А тут скрепы порвались.

Берия! Вот чья рука, поросшая рыжеватыми волосками, была всегда, где бы Онисимов ни обретался, занесена над ним. Оба они, Берия и Онисимов, были членами ЦК, разговаривали на 'ты', Онисимов, случалось, встречал неясную его улыбку и не сомневался: за нею скрыта ненависть.

Еще и еще хлещут признания. Рвутся слова о непонятных страшных арестах тридцать седьмого и тридцать восьмого годов. Челышев безмолствует, уставившись в пол. Непроизвольное пошевеливание крыльев носа свидетельствует, как захвачен, взволнован старик откровенностью Онисимова.

По-прежнему, давая себе волю, входя в разные подробности, — Онисимов сам удивлен, что они воскресают в памяти, — он продолжает излияние.

Слежка за его машиной. Мучительные думы, ожидание ареста. И решение: написать Сталину. Копию этого письма Онисимов тоже взял с собой, покидая Москву. Из сейфа он достает несколько страниц машинописи:

«Прочтите.»

Гость углубляется в бумагу. Да, сильно написано. С достоинством. 'Беру на себя полную ответственность за всю служебную деятельность моих подчиненных... Никакие вредительские акты не имели места в аппарате, которым, выполняя поручения ЦК партии, я руководил...' И затем — просьба о расследовании.

«Даже и теперь бы я не мог», убежденно говорит Онисимов, «ничего сюда прибавить. Не мог бы изменить ни одного слова.»

«Э, теперь-то можно было бы влепить и покрепче.»

Онисимов не отзывается на реплику, он видит сейчас прошлое.

Письмо, переданное в руки Хозяину. Это сделал Уфимцев, известный старый большевик, беспощадный ко всем, кто хоть раз шатнулся, мало-мальски усомнился в Сталине. Он знал Онисимова по армии и по Москве. Не только знал, — они давно уже породнились. Жене Онисимова Уфимцев приходился дядей. Он, конечно, мог бы резко отмести эти родственные отношения. Не вступился же он за арестованного своего воспитанника, прежде любимого, который в двадцатые годы, студентом, голосовал за оппозицию. Но Онисимову он верил,

был убежден в его готовности всегда, в любых условиях, исполнять волю ЦК партии, волю Сталина, и, рискуя вызвать недовольство, раздражение Сталина, подвергая и себя грозной опасности, положил перед ним письмо Онисимова. Сталин начертал резолюцию: 'Создать комиссию'.

Жадно закуривая, втягивая табачный дым, порой натужно, долго кашляя, Онисимов ведет дальше свой рассказ. Допросы, вызов в Кремль. Мерно прохаживающийся Сталин. Улыбка Берия, не сулящая ничего доброго. Онисимов в подробностях воспроизводит этот грозный, исполненный почти нечеловеческого напряжения час. И вот он, уцелевший питомец Серго, вышел от Сталина, облеченный доверием и новым званием: народный комиссар танкостроения. Тогда он переступил некий порог, шагнул в переменившиеся времена.

Взбаламученные мысли несут Онисимова к воспоминаниям о Серго. И опять он исповедуется.

За окном уже утро. Ясно светлеет полоска между неплотно задернутыми занавесями. Поглощенный своей исповедью, Онисимов их не раздвигает. Он так и продолжает говорить, не впуская утреннего света, словно пребывая еще во вчерашнем дне. Болезненно бледное лицо к утру вовсе посерело. И дыхание словно бы без причины участилось, стало слышимым.

«Бросьте себя мучить», бурчит академик, «вылезайте душой из тех времен. Чего они к вам цепляются? Перед вами еще будущее.»

Мысли Онисимова, однако, по-прежнему обращены в прошлое.

«Никому я не имел права сказать свое истинное мнение.» И он повторяет: «Никому.»

Онисимов вынимает еще папиросу, снова дымит. И неожиданно называет имя человека, про которого, как доселе казалось Челышеву, не хотел говорить:

«Наверное, Петр Головня презирает меня...»

Бывший председатель Комитета продолжает взволнованный рассказ, торопится поведать еще многое. Порой он говорит скомканно, сбивается и, конечно, не живописует. Однако в уме, во взбудораженных мыслях, ярко проносятся картина за картиной. Передадим посвоему одну из них.

...Знойный июльский день 1952 года.

Не прошло и недели с того часа, как он наедине с собой в своем пустынном кабинете читал и перечитывал только полученное им постановление Совета Министров СССР об изобретении Лесных. В первых же абзацах этой подписанной Сталиным бумаги, Онисимову объявлялся выговор. Формулировка была резкой: 'Зажим ценнейшего новаторского предложения'. Наверное, Сталин сам диктовал постановление. Или, может быть, поручил Берия подготовить текст. И все-таки Онисимов, как он ни был уязвлен, как ни страдало самолюбие, мог с облегчением вздохнуть. Совсем близко, словно обдав дуновением лицо, пронеслась, просвистела гибель. Онисимов тут вряд ли преувеличивал. Если бы раздраженный Хозяин устранил Онисимова, Берия, конечно, нашел бы способ доканать недруга. Онисимов отделался лишь этими двумя строками выговора, да еще заданием: выстроить, пустить мощный завод с печами системы Лесных.

Изнуренный нервным напряжением этих дней, даже для него, закаленного во многих передрягах, непомерным, с удивлением наблюдая, как будто ни с того ни с сего вдруг сотрясаются, мелко дрожат пальцы, он в конце недели позволил себе отдохнуть, решил провести субботний вечер и воскресенье на даче.

Дача, которая, так сказать, по должности была предоставлена ему, располагалась в сосновом бору близ Москва-реки. Онисимов редко наезжал в этот загородный домик, его и по воскресениям притягивала служба, кабинет. Переночевав в тот раз на даче, — ее тоже, как и квартиру в Москве, чьи-то руки обставили по гости-

ничному, — он в воскресный жаркий полдень вышел в одиночестве со своего участка, медлительно зашагал к реке.

Твердый белый воротничок был оставлен в спальне, его заменила легкая голубая рубашка, верхние пуговки Онисимов не застегнул, открыв ветерку коротковатую шею.

Некоторое время он брел по полянам. Шагая по некошенной, жестковатой траве, Онисимов неожиданно услышал:

«Александр Леонтьевич, ты?»

Он повернулся на оклик.

Подставив солнцу черную до глянца шевелюру, хотя поблизости бросала тень одиночная сосна, Тевосян, с детства привыкший к жаре Закавказья, полулежа расположился на траве и с мягкой улыбкой смотрел на Онисимова. Рядом покоились снятый пиджак и серая шляпа Тевосяна. Заместитель Председателя Совета Министров СССР расстался тут, как и Онисимов, с воротничком: в распахе светлой сорочки чернели вьющиеся волосы.

«Присаживайся», — дружески сказал Тевосян.

«Э, я тут зажарюсь», — пошутил Онисимов.

«Что же, учтем твое положение.»

Тевосян легко вскочил, чтобы перейти в тень. Его карие, почти черные глаза кого-то отыскали на реке.

«Погляди», сказал он. «Дочка. Вон красная шапочка.» И подняв над головой смуглую руку, помахал.

Тотчас подплывшая к берегу 'красная шапочка' — дочь Тевосяна — вскинула руку, ответно замахала.

«Где-то тут и мой Володька», продолжал Тевосян. «Сейчас его мобилизуем. В шахматы сразиться не откажешься? Отправим Володю за доской. Ага, он... Кажется и меня уже узрел.»

Жестом он поманил сына, которого Онисимов, признаться еще не различил. Юноша в трусах, загорелый до

шоколадного тона, поднялся с песка, побежал на немой призыв.

Минуту спустя Тевосян-сын, перенявший с удивительной точностью, вплоть до явно обозначившихся усиков, наружность отца, отвесил вежливый поклон Онисимову и воскликнул:

«Папа, я нужен?»

«Не в службу, а в дружбу... Тебя не затруднит слетать за шахматами?»

«Конечно. О чем говорить?»

Онисимов перехватил обращенный на отца сыновний взгляд, — в нем читалось обожание. Чуть защемило на сердце. Белобрысый Андрейка, поздний плод брачного союза, единственное дитя четы Онисимовых, этак на него, Онисимова, уже не поглядывал. Вот и в нынешнее воскресенье, в редкий приезд отца, Андрейка куда-то унесся.

В ожидании доски давние товарищи сели под сосной. Закурили. Онисимов дымил сигаретой. Тевосян неторопливо затягивался папиросой.

«Знаешь», произнес Онисимов, «как-то мне наше медицинское светило профессор Соловьев дал такой совет: если вы уж курите, то получайте удовольствие. Расположитесь поудобней, работа две минуты подождет, и покуривайте со вкусом.»

Оба усмехнулись. Как выкроишь такого рода минуты в стремительном беге рабочих дней и ночей.

Встретившись здесь, в дачном приволье, они о делах не говорили. Это было неписаным правилом, — не касаться на отдыхе того, что охватывалось понятием 'работа'. Заместитель председателя Совета Министров, разумеется, знал, что несколько дней назад Сталин объявил Онисимову выговор. Знал все постановление относительно способа Лесных. Однако и намеком не тронул этой темы.

Перебрасывались фразами о том, о сем, порой молчали. Тевосян лег навзничь, заложив руки за голову. И вдруг

средь незначащей беседы он, будто ненароком, произнес:
«Кажется, позавчера тебе переслали заявление Петра Головни. Получил?»
«Получил.»
Да, Онисимов уже ознакомился с письмом директора Кураковки, адресованным в ЦК партии и в Совет Министров. Письмо было неприятным. Головня-младший обвинял Онисимова в том, что тот на протяжении ряда лет не давал ходу его изобретению, ныне все же признанному. И далее требовал... Ну, Онисимову не хотелось сейчас об этом думать. К чему же, однако, Тевосян спросил про Головню?
По-прежнему лежа, не поворачивая головы, Тевосян добавил:
«Мне вчера насчет этого звонили от Лаврентия Павловича.»
Онисимов ничего не ответил, но, несмотря на зной, ощутил ползущий по спине холодок. От Лаврентия Павловича. То есть, Берия уже проведал. И если удалось устоять в деле Лесных, то... Онисимов опять взялся за коробку сигарет. Пальцы мелко сотрясались. Усилием воли он хотел унять эту противную дрожь. И не унял. Сунул коробку в карман, не закурив.
А Тевосян уже говорил о другом, — о своем Володьке, об институте, куда метит попасть сын.
Потом появились и шахматы. Смятение мешало Онисимову сосредоточиться. В первой партии он был начисто разгромлен. Но пустив в ход тормоза, он опять стал, как всегда, собранным. Покуривая — кстати и дрожь пальцев улеглась — внешне невозмутимый, Онисимов все-таки стеснил партнера, — тоже, как и он сам, неплохого шахматиста, вырвав победу во второй партии.

...Хлещет и хлещет его исповедь.
В ту свою ночь откровенности, изливаясь старику-академику, Онисимов лишь изредка присаживался, нерв-

ная взвинченность, волнение подымало его на ноги. Он и теперь вышагивает, подходит к глобусу, смотрит на залитый подтеками голубизны большущий шар.

«Ни один человек на белом свете не презирает меня так, как Петр Головня. И все же... Все же он глядит вот этак...»

Поднеся с обеих сторон к глазам распрямленные ладони, — они служат словно шорами, — Онисимов ограничивает обзор.

«Пусть поглядит вот так». Откинув руки, Онисимов озирает потолок и пол, обегает взглядом комнату. «Пусть увидит всё.»

«А вы сами-то как смотрите? Не хотите видеть будущего.»

Онисимов еще остается откровенным:

«Не знаю. Оно, наверное, не для меня. До нынешнего дня мне еще верилось, что вернусь в министерство, в промышленность. А теперь... Пожалуй, там я теперь не нужен.»

Академик встает. Впереди рабочий день, следует прикорнуть и самому, дать отдых и Онисимову, выговорившемуся ныне так, как ему еще, вероятно, не случалось, утомленному, если не больному. Да, надобно сказать что-то утешительное.

«Ничего, немного потерпите. Глядишь, и организуется некий Центросовнархоз или Главиндустрия. У нас любят, чтобы под рукой был человек, с которого за все можно спросить. А то и спустить с него три шкуры. Вот тогда и скажут: 'Подать сюда товарища Онисимова, как раз место для него'. Я вам это предрекаю.»

Онисимов опять провожает гостя вниз до входной двери.

Переживая минувшую необычайную ночь, Челышев по рассветной прохладе добрался к отелю пешком. И вопреки прежнему здравому намерению не лег соснуть. Присел к столу, раскрыл толстую тетрадь, сопровождавшую его в Тишляндию, стал на свежую память за-

носить в дневник историю Онисимова. И хотя в этот день предстояли интересные экскурсии, Челышев на телефонные звонки отвечал, что неважно себя чувствует и нынче полежит. Он строчил почти до вечера, исполняя, как он сам считал, свою обязанность перед потомством. Уже почти три десятилетия он, доменщик-ученый, ведет такие записи, им движет немеркнущее убеждение: довелось жить в великое время.

Пользуясь (но, думается, не злоупотребляя) своей авторской властью, скажу еще раз: этот мой роман-отчет вряд ли был бы задуман, — не говорю уже: написан, — если бы я не располагал таким человеческим документом, как дневник академика Челышева.

...Накануне вылета возвращавшейся на родину группы, Онисимов вечером собрал у себя отъезжающих. Скромнейший трезвенник, изгонявший спиртное, всю жизнь остававшийся таким, он и здесь себе не изменил, — ужин был подан без водки, без вина, даже без пива.

После ужина слушали патефонные пластинки. Одна за другой звучали в превосходном исполнении известные русские песни. Среди гостей, как почти во всякой русской компании, нашелся голосистый искусник-запевала, молодой инженер-судостроитель. Постепенно выветрилось, исчезло стеснение. Онисимов в черном вечернем костюме присел на ступеньки небольшого возвышения, служившего здесь своего рода эстрадой, безмолвно слушал, смотрел на земляков. Рослый, носатый, светловолосый запевала сбросил пиджак, остался в кремовой сорочке и, выразительно дирижируя обеими руками, выводил исполненную грусти колыбельную:

Станешь большая,
Отдадим тебя замуж
В деревню большую,
В семью чужую...

Некогда на подворье святого Пантелеймона, — так по старинке именовался отобранный у монахов дом, ставший студенческим общежитием института стали — этак же, протянув обе руки, вел песню, дирижировал и тонкий синеглазый Володя Пыжов, по прозвищу Пыжик. Теперь его уже нет в живых. Но Онисимов не хочет об этом думать. Студент Пыжик мог петь вечер напролет. И тоже снимал пиджак, высился в светлой, — нет, не сорочке, — в сатиновой косоворотке, которую носил навыпуск, подпоясывая тонким ремешком. Пыжик, случалось, затягивал эту же тоскливую колыбельную, что привез с собой из родной Сибири. Обычно, он не давал Онисимову подтягивать — тот был почти лишен музыкального слуха, — но начиная 'Живет моя отрада', не забывал всякий раз сказать: 'Саша, можешь участвовать'. Онисимов и сейчас решается присоединить свой голос к другим. Прочь, прочь неотвязные мысли.

Лишь далеко заполночь гости распростились с послом. Онисимов крепко пожал каждому руку. Челышеву сказал:
«Передайте привет всем.»
Помедлил и повторил:
«Всем.»
Челышев метнул на Онисимова взгляд из-под бровей, понял, что тот разумеет и Головню-младшего. Ответил:
«Передам.»

В нашей повести уже фигурировал имевший мировое имя, овеянный доброй молвой, московский врач, автор книги «Общая терапия», профессор Николай Иванович Соловьев, который некогда осматривал Онисимова и дал совет: 'Избегайте ошибок'.
В августе 1957 года ему позвонили из министерства иностранных дел:
«Николай Иванович, не согласитесь ли полететь в Тишляндию: наш посол, товарищ Онисимов, — болен.»
«Что с ним?»

«Лежал с воспалением легких. Теперь острый период миновал, но все же выздоровление не наступило. Мы вас просим дать свое заключение.»

Соловьев, побывавший во многих странах, кроме Северной Европы, охотно принял предложение. В рассветный час ясного сентябрьского дня Соловьев вылетел с аэродрома Внуково. Вместе с ним отправилась к мужу встревоженная, но сохранявшая обычную сдержанность, присутствие духа, строго одетая, строго причесанная жена Онисимова.

В пути, коротая пересадку в просторном, сооруженном словно бы из стекла, транзитном зале аэропорта, Соловьев спросил Елену Андреевну:

«Муж что-нибудь писал вам о своей болезни?»

«Почти ничего. Он вообще писать не любит. Разве лишь деловые бумаги. Иногда мы разговаривали по телефону. Я знаю, что он никак не приспособится к климату, страдал от влажного лета, почему-то без конца простужался. Но в письмах ни на что не жаловался.»

«Как у него тонус настроения?»

Елена Андреевна ответила кратко:

«У него были неприятности. Некоторое время он и на новой работе, пожалуй, испытывал угнетение. Потом, как мне казалось, увлекся новыми обязанностями.»

Соловьев с интересом слушал. Ни лысина, ни седина не угасили молодого интереса, с каким он относился к каждому больному, к каждой индивидуальности, встречавшейся на его пути врача. Возможно такая черточка, родственная, думается, и профессии писателя, определила врачебный профиль Соловьева: общая терапия.

«Извините неделикатность», продолжал он. «Вы никак не могли с ним поехать?»

Жена Онисимова ничем не показала, что эти слова ее задели. Речь оставалась по-прежнему мерной:

«Такой вопрос перед нами не стоял. Наша жизнь построена так: прежде всего работа. Работа не позволила мне ехать. Кроме того, я обязана воспитывать сына.»

Соловьев в знак удовлетворения, понимания склонил голову. Этот беглый разговор, да несколько часов проведенных совместно в самолете, оставили у него ощущение, что ему сопутствует хорошо собой владеющая, рассудительная женщина-администратор. Ну, что ж, в трудную минуту она зато не наделает глупостей, не потеряет себя, не зарыдает, будет советчиком, дельным помощником.

В столицу Тишляндии самолет прибыл вечером. С аэродрома автомобиль повез Соловьева и Елену Андреевну в посольство.

В первую же минуту посол произвел впечатление тяжелобольного. Очень исхудалый, он вышел к приехавшим в халате. Движения его были вялы, глаза не заблестели, когда он увидел жену. Слабо ее поцеловал, верней, лишь притронулся к ее щеке почти бескровными губами. На изжелта бледном лице лежал сероватый налет. Казалось, к желтизне примешан пепел. Уже один этот специфический пепельный оттенок как бы объявлял о болезни, называя ее по имени.

Впервые за много лет, очень много лет, Онисимов не следовал привычке бриться каждый день. Щетинка проступила на подбородке, поползла вверх по скульным костям, явственно обозначившимися из-за худобы. Истонченный нос казался укрупнившимся, слишком большим.

Предоставив супругам без помехи поговорить, Соловьев некоторое время спустя наведался к больному. Онисимов принял профессора в спальне. Комната была тщательно убрана, — возможно уже руками жены. Свои места занимали, точно в Москве, две широкие кровати, — одна без складочки застеленная, другая тоже прибранная, но со слегка откинутым у изголовия одеялом, как бы ждущая больного, — зеркальный платяной шкаф, тумбочки, столик с графином воды и пустующей вазой для цветов. Вооружившись очками в темной массивной оправе — осунувшееся лицо теперь, в очках,

казалось еще меньшим, — Онисимов просматривал привезенные женой московские газеты.

Елена Андреевна оставила в свою очередь наедине врача и больного. Сняв очки, Онисимов заговорил первый. Он не жаловался на самочувствие, даже был склонен, как показалось профессору, преуменьшать недомогание.

«Могу работать, хочу работать. Помогите, Николай Иванович, разрешите все сомнения.»

«Какие же сомнения?»

Онисимов стал рассказывать. По-видимому, он простудился. Это случилось около месяца назад. Температура сразу вскочила до сорока градусов. К нему вызвали врача, который оказался русским по происхождению, американцем по гражданству, тишляндцем по месту оседлости.

«Гражданин мира. Интересная фигура. Имеет тут собственную клинику. И обслуживает почти все посольства. О нас, знаете, как он сказал? Ваши люди — закрытые люди. Не глуп. И дело свое, кажется, понимает.»

Онисимов вел речь неторопливо. Соловьеву нравилась его манера — никакой важности или ломания, никаких манер сановника, рассказ мужественный, прямой. Онисимов сообщил, что русско-американец нашел у него воспаление легких, применил антибиотики и сбил температуру. Затем, повез посла в свою клинику, просветил легкие, сделал рентгеновские снимки. Счел необходимым консультацию профессора. И вскоре приехал к Онисимову с двумя местными профессорами, которые сказали в лоб: 'Есть основания подозревать рак легкого'.

В дальнейшем, автор, распутывая все узелки истории жизни и болезни Онисимова, выяснил, что Онисимов не вполне точно изложил Соловьеву свой разговор с медиками-тишляндцами. Позже мне довелось встретить обоих в Москве в дни международного противоракового конгресса. Оба они, — пожилой крепыш, другой — по-

моложе, большеглазый, — не забыли советского посла. С их слов дело обстояло несколько иначе. Они отнюдь не предполагали выкладывать Онисимову диагноз напрямик. Однако, назвав свои фамилии, они тем самым уже раскрыли тайну. Воспользовавшись минутой, когда врачи ушли совещаться в соседнюю комнату, он полистал справочник, содержавший имена всех более или менее известных в Тишляндии врачей, и тотчас установил, что к нему пришли специалисты по раку, один из которых являлся даже директором Центрального онкологического института. Вернувшихся профессоров он, что называется, припер к стене. Почему к нему приехали именно они, специалисты-онкологи? Значит, для этого есть основания? Острые вопросы Онисимова, — с такой остротой он, бывало, вскрывал истину, будучи начальником главка, министром, председателем Комитета, — заставили большеглазого признаться: да, есть основания подозревать рак легкого.

Возможно, что и у Соловьева Онисимов намеревался вырвать истину. Так или иначе он сказал:

«Здешние врачи находят рак.»

Так и выговорил: 'рак', не прибегнул к смягчающему, неопределенному: 'опухоль'. Казалось, железный Онисимов сохранял спокойствие. На столике, недалеко от посла, покоилась коробка сигарет «Друг», Онисимов к ней потянулся, повертел в исхудалых трясущихся пальцах. Дрожь эта поведала, как напряжены нервы его. Поймав взгляд Соловьева, он отодвинул коробку:

«Пустая... С куреньем я покончил.»

И, сложив руки, замолчал.

«Здешние врачи?» протянул Соловьев. «Какие же у них основания?»

Взор Онисимова стал, как и в былые времена, пронзительно острым. Речь вдруг обрела энергию:

«Не одобряете их прямоту? Но ведь есть больные и больные. У иных нельзя и не надо отнимать иллюзию. А другим следует говорить правду. В частности, мне.

Если у меня рак», он опять без запинки произнес это слово, «скажите мне об этом прямо. И я буду действовать согласно этому диагнозу. У меня есть дела, которые, возможно, уже надо закруглять. Дела серьезные. Поэтому я прошу ясности.»

Соловьев взял рентгеновские снимки. Легкие были затенены. Тень не являлась характерной для воспаления, заставляла предположить наличие опухоли. Попросив Онисимова раздеться, Соловьев его прослушал. Сзади, на короткой шее Онисимова, у самого края его жестких волос, слегка возвышалась папилома, — шишечка, сходная с родинкой. Сравнительно большая, — с ноготь большого пальца.

«Что это у вас?»

«Сам недавно заметил.»

Соловьев еще раз посмотрел на папилому. В своем курсе терапии он указывает, что появление папилом нередко является предвестником, а то и спутником раковой опухоли. Однако, верным симптомом это нельзя было назвать. Не найдутся ли на коже иного рода образования. Прославленный диагност тщательно осмотрел все тело больного, нащупал под мышкой опухшую, уплотнившуюся лимфатическую железу, что являлось тоже дурным знаком, взглянул на подколенные ямки, — нет, кожа там была чиста.

Напоследок розоватые тонкие пальцы терапевта погрузились в онисимовскую шевелюру, прощупывая кожу и здесь. Правда, при раке легкого кожа головы, как и лица, почти никогда не бывает затронута, но Соловьев еще и еще прошелся восприимчивыми подушечками пальцев в зарослях каштановых волос. И — что это? Едва ощутимый, величиной с просеянное зернышко, плотный узелок. А вот — второй. Э, а тут возвышеньице побольше, с чечевицу. Предварительно, пожалуй, можно определить, что дело запущенное, безнадежное.

«А эти вздутия на голове... Давно они у вас?»

«Где?» Онисимов нащупал скрытые волосами узелки.

«Про них я и не знал. Сейчас только заметил.»

«Одевайтесь, пожалуйста.»

Натягивая сорочку на бледное исхудавшее тело, Онисимов вновь попросил:

«Жду от вас только прямоты. Она мне необходима. Буду знать, как поступить.»

Сказал это с такой убежденностью, с таким напором, что опытнейший московский врач поколебался. Может быть, открыть Онисимову правду? Возможно, Онисимов, действительно, принадлежит к людям, на которых нельзя распространять общие мерки. Сумел же он поставить вопрос честно, здраво, остро. Однако традиционная врачебная осторожность взяла верх.

«Я нахожу воспалительный процесс в легких», — заявил Соловьев.

И далее понес нечто правдоподобное:

«В легких, несомненно, есть очаги воспаления. Возможно, это продолжающаяся пневмония. Антибиотики притушили ее, но она гнездится, живет и вызывает все эти явления.»

По привычке он интересно и живо нарисовал некую мнимую картину. И заключил так:

«В общем, необходимо исследование в Кремлевской больнице. Лишь это внесет нужную ясность.»

После осмотра Соловьев поговорил с Еленой Андреевной, сказал, что подозрения тишляндких врачей кажутся ему основательными.

Она сидела на скамье в саду представительства. Садящееся солнце мягко пригревало. Жена Онисимова встретила тяжелый диагноз без растерянности, без суеты. Стала расспрашивать:

«Почему вы так считаете? Какие признаки?»

Он перечислил те симптомы, которые в совокупности являлись вполне определенными.

«Что же можно сделать? Есть ли какие-нибудь средства?»

«Не могу вас обнадежить. Оперировать, по-видимому, невозможно. А другие средства... Ни одного более или менее верного мы пока не имеем.»
Елена Андреевна отвернулась. Соловьеву был виден край ее лба и висок, меченный родимым пятном. Плакать она себе не разрешила. Лишь раз-другой поднесла платок к глазам. Потом опять обратила взор к врачу. Голос по-прежнему слушался ее, но веки и нос покраснели. Соловьев передал свой разговор с Онисимовым, его просьбу сказать прямо: верны ли подозрения здешних профессоров?
«Ваш муж настаивает. Говорит, что у него есть незаконченные важные дела. И он будет поступать соответственно диагнозу.»
Немного подумав, седоватая, строго одетая, сумевшая быть выдержанной и в такой час, женщина ответила:
«Нет, этого не надо. Он отважный человек, готов смотреть опасности в глаза, но... Наша обязанность, если уж не будет надежды», она опять вытерла слезу, «облегчить ему оставшиеся дни.»
Соловьев и тут наклонил в знак согласия свою лысую, с седым венчиком голову: формулировка была правильна, разумна.
«Не надо», повторила Елена Андреевна. «А то он будет переживать. Никому не скажет, а сам будет мучаться. Это для него самое мучительное — переживать молча, не делясь ни с кем.»
Она, жена-деятель, видимо, глубоко знала, понимала мужа. Снова подумав, она спросила:
«Не это ли его свойство вызвало...» — она не договорила.
Московский терапевт еще раз мысленно отдал должное уму жены Онисимова. Он объяснил, что в медицине узаконен афоризм: 'Рак готовит себе постель'. «Происхождение этой болезни науке доселе неизвестно. С этим связана и наша, терапевтов, беспомощность в лечении рака, — однако, все же можно с достаточной

долей достоверности предположить, что в организме существуют защитные силы, противоборствующие, противостоящие заболеванию. И если они расшатаны, подорваны различными нервными потрясениями, расстройствами, ошибками, постоянным угнетением, то болезнь врывается сквозь ослабленную защиту. Мы понимаем эту взаимосвязь так: угнетение не вызывает злокачественной опухоли, но благоприятствует ее развитию. Она могла зародиться у него уже сравнительно давно. Кстати, ему перед отъездом сюда легкие просвечивали?»

«Нет, он не обследовался.»

«Вот как? Почему?»

«Понимаете ли, все это было не просто. Его освободили... Вы, если не ошибаюсь, беспартийный?»

«Да.»

Она промолчала, сморкнулась, видимо, поколебавшись, принудила себя к откровенности с врачом.

«Конечно, он совершил ошибку, неправильно высказался. Только, пожалуйста, это между нами, но и наказание было очень строгим. Его совсем устранили из промышленности. Назначили сюда. А он всегда был образцом дисциплины. И если бы он пошел обследоваться, если бы врачи запретили ему ехать, то... Вы понимаете, это могло быть совсем превратно истолковано. А у меня и не было мысли о такой страшной болезни.»

Наконец-то, эта женщина, имя которой иной раз упоминалось в газетных отчетах, не совладала с собой, уткнулась в рукав темно-синего жакета, расплакалась, виня себя. Однако лишь на минуту-другую она дала волю этой женской слабости. Глаза были опять вытерты. Она вновь обрела прямизну стана, ясный разум, готовность быть к услугам, исполнять долг. Теперь были явственно заметны ее по-бабьи обвисшие щеки, на которые тоже легла краснота, — да, она, партийка с двадцатого года, пронесшая без пятнышка, без единого

порицания или выговора даже и сквозь сталинские времена свое звание члена партии, государственной и общественной деятельницы, оставалась тем не менее женщиной, женой. И ради мужа сумела сейчас мобилизовать выдержку, сидела собранная, как на работе. Впервые при Соловьеве, не постеснявшись его, она вынула из большого коричневого не то портфеля, не то сумки металлическую без украшений пудреницу, посмотрелась в зеркальце, запудрила щеки и нос.

Глядя на нее, Соловьев вспомнил где-то слышанную, понравившуюся ему поговорку: 'Смерть и жена Богом суждена'. Человек, ради которого он сюда доставлен, прошагал свою жизнь рядом с этой женщиной, тоже отформованной одинаковым прессом. А если бы его женой была другая? Праздный вопрос... Он некогда выбрал ее, этот выбор тоже часть его личности. Наверное Онисимов не был бы самим собой, если бы женился на другой. Впрочем, случаются же роковые мгновенья, развилки на пути. Возможно, некогда он тянулся и к иной, видел в мыслях другую спутницей жизни. Проницательный медик отметает, однако, эти мысли. Сказано же: 'Богом суждена'.

Московский профессор и Елена Андреевна принимают решение: сегодня же Соловьев даст телеграмму в Москву. Он набрасывает в блокноте текст для шифровальщика: 'Необходимо увезти Онисимова. Подозрение на рак легких. Соловьев'.

«Теперь я ему, собственно говоря, не нужен.»

«Нет, заходите к нему, осматривайте. Или хотя бы делайте вид, что осматриваете. И что-нибудь прописывайте.»

Соловьев дважды в день заходил к Онисимову, старательно выслушивал, выстукивал его, прописывал какие-то общеукрепляющие средства, бромистые препараты. И не удивился, что больной стал заметно лучше себя чувствовать. Такого рода стадия, как бы улучшение, нередко встречается в развитии ракового процесса

под воздействием разных факторов, разумеется и психологических. Субфебриальная температура продолжала держаться. Остались и быстрая утомляемость, слабость. Однако в какие-то часы, особенно по утрам, Онисимов не был уже вялым, заменил на пол дня халат домашним пиджачком, стал опять бриться аккуратнее. Соловьеву, который с интересом знакомился со столицей Тишляндии, а заодно и жене, нередко присутствовавшей во время посещения врача, Онисимов охотно рассказывал об этой стране. Пожалуй, деятельность дипломата уже и впрямь его несколько забрала.

Жадно расспрашивал о Москве. Оживился, заулыбался, узнав, что решением Совета Министров здание, когда-то принадлежавшее Главпрокату, передано институту, который возглавляет Соловьев.

«Я строил эти хоромы еще при Серго. Помните его?»

Нет, Соловьев не встречался с Серго.

«Жаль, жаль... Пожалуй, те годы, когда я работал под руководством Серго, были в моей жизни самыми лучшими.»

Елена Андреевна легким кивком головы опять как бы скрепляет слова мужа. Ей-то известно, как после гибели Серго навис над житьем-бытьем Онисимовых Берия, выжидавший случая посчитаться. Нет, ни о Берия, ни тем более о Хозяине, — вон видна его небольшая фотография, — Онисимов не станет судачить с этим приятным и, кажется, умницей москвичом-профессором.

«Теперь вы будете сидеть в моем кабинете», — продолжал Онисимов.

И счёл это хорошим предзнаменованием. Он, ранее не бравший ничего на веру, изобретательно, остро изобличавший малейший обман, теперь склонен был верить, что у него, действительно, какая-то форма ползучего воспаления лёгких, поверил в выздоровление. Сколько раз Соловьеву приходилось наблюдать этот спутник рака, указанный в его книге, так называемую эйфорию — своеобразное опьянение, возбужденное состояние, к ко-

торому присоединялась легкая доверчивость к обману, легкая внушаемость.

Вскоре из Москвы пришла телеграмма о необходимости выезда Онисимова для лечения. В обычный час к Онисимову заглянул Соловьев, — неизменно элегантный, в галстуке бабочкой, подвижной, восторженно воспринимавший свою встречу с удивительной столицей северной страны. Ознакомившись с телеграммой, он без раздумий воскликнул:

«Хотелось бы еще тут послоняться. Но долг службы призывает. Что же, будем собираться.»

Елена Андреевна, опять находившаяся тут же, спросила:

«Как вы считаете, совсем собираться?»

Он с ясными глазами ответил:

«Зачем? Александр Леонтьевич скоро вернется.»

И чинная московская партийка и всемирно известный русский терапевт, разрешивший себе обрести на чужбине легкомысленный вид, уже превосходно сыгрались, находчиво, тонко исполняя свои роли.

На аэродроме Онисимова провожали не только советские люди, но и высокопоставленные чиновники Тишляндии, и главы посольств, аккредитованных при королевском правительстве. Каждый пожал на прощание руку этому нисколько не чопорному, умному, сумевшему заслужить общее расположение представителю великой и всё еще несколько загадочной, раскинувшейся и в Азии и в Европе социалистической державы. И свои и иностранцы желали ему скорейшего выздоровления, возвращения к своим обязанностям. Посланник Канады пригласил его вместе поохотиться на рождественские праздники. Сборы, близившийся отлет, внимание, оказанное ему дипломатическим корпусом, что в какой-то степени, конечно, относилось и лично к нему, являлось каким-то плодом его здешней работы, — всё это взбудоражило, взбодрило Онисимова. Он давно не чувствовал такого подъёма, такого вкуса к жизни. Только

что начался сентябрь, — в этом году неожиданно солнечный, теплый в Тишляндии. Онисимов в мягкой темной шляпе, осеннем расстегнутом пальто, окружённый провожающими, стоял, улыбаясь, под нежно-голубым небом у самолета, готового в путь.

Улучив минутку, советник посольства, он же секретарь тамошней партийной организации, лобастый Макеев, постоянный партнер Онисимова в шахматы, спросил его:

«Кому поручить доклад о сороковой годовщине?»

«Фу ты ну ты, до годовщины же еще больше месяца. Никому не поручай. Успею вернуться. И сам сделаю.»

Державшийся вблизи Соловьев, легко подтвердил:

«Конечно, никому не поручайте.»

Но он-то знал: никогда Онисимов больше сюда не возвратится.

В Копенгагене предстояла пересадка на советский самолет. Оставив Онисимова в покойном кресле у стеклянной стены огромного помещения для транзитных пассажиров, врач и Елена Андреевна прохаживались по дорожке аэродрома. Она спросила:

«Если всё подтвердится, сколько он ещё проживет?»

«Кто знает, неизвестно — как будет бороться организм. Несколько месяцев. Полгода.»

В Москве, на аэродроме во Внуково, приземлились вечером. Восемь месяцев назад Онисимова отсюда провожали сотоварищи, шли будто колонной по забетонированному полю. Теперь же никто из них, его бывших сподвижников, сотрудников, кадровиков промышленных министерств и управлений не приехал его встретить. Да и самих министерств уже не было.

К трапу, по ступенькам которого, не спеша, сходил Онисимов, подкатила санитарная машина. Появились носилки. Об этом позаботилось лечебное управление Совета Министров — там, очевидно, полагали, что Онисимов сам уже передвигаться не может.

Он с усмешкой отстранил санитаров, но предвестье, несомненно, было плохим. Тоскливое знакомое предчувствие снова засосало Онисимова. К нему подбежал сын, на миг приостановился, пытливо взглянул в глаза отца, в его изжелта-бледное с сероватым оттенком лицо. Андрюша поразился, каким маленьким, словно бы усохшим, стало оно, это родное лицо. А нос совсем костлявый, восковой... Более не разглядывая, мальчик прильнул к груди отца. Взволнованный Онисимов провел по лбу, по мягким волосам Андрейки, приник к ним губами.

Снова выпрямившись, Онисимов увидел рослую, мужеподобную Антонину Ивановну, своего давнего лечащего врача. Она встречала его по обязанности службы. Онисимов пожал ей руку, хотел пошутить насчет санитарной машины и носилок, но шутка не подвертывалась, и он, усмехнувшись, сказал:

«Вот, Антонина Ивановна, я и не курю...»

На другой же день после приезда Онисимов лег в больницу, к которой давно, еще в качестве министра, был прикреплен.

Ему предоставили палату, носившую несколько странное название — полулюкс. Такого рода полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой. В этом светлом, просторном обиталище, многое пришлось Онисимову не по нраву, — мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы развешанных по стенам картин. Какому-то умнику вздумалось поставить здесь зеркальный шкаф. Только этого больным еще и не хватало — любоваться собой в зеркало.

Впрочем, пока что тут зеркало не было нужным: Онисимов мог в этой отражающей поверхности видеть, как он со дня на день поправляется. Это как будто подтверждало тот же успокоительный диагноз, объявлен-

ный Онисимову и в больнице — вяло протекающее, длительное воспаление лёгких или, выражаясь языком медицины, затянувшаяся пневмония.

Так или иначе, в этой излишне обширной, излишне роскошной на его взгляд больничной палате, он ощутимо пополнел, чему, думается, способствовал и отказ от курения. Впалость щек перестала быть пугающей. По утрам он нередко чувствовал себя бодрым. Боли в позвоночнике, которые и раньше еще не были мучительными, теперь и вовсе редко давали себя знать.

Сын натащил ему книг, затем Онисимов с разрешения врача затребовал из МИДа всяческие дела, которые имели отношение к его службе в Тишляндии. Позавтракав, он надевал пиджачную пару, вешал больничное облачение в шкаф, усаживался за письменный стол, очищенный, разумеется, от статуэток и прочих дорогих украшений, вооружался очками, излюбленным жестким карандашом и, испытывая удовлетворение, удовольствие, несколько часов кряду проводил над присланными ему папками.

И всё укреплялся в мысли: пожалуй, у него и взаправду вовсе не рак, а действительно какая-то форма пневмонии — хронический, ползучий, требующий систематического долгого лечения воспалительный процесс. Однако трезвый голос, хотя и подточенный заболеванием, но далеко не заглохший, тот, что всегда повелевал Онисимову «не доверяйся», и ныне предостерегал его от легковерия.

Как-то вечером к Онисимову пришел Андрюша, — ему разрешалось навещать отца два раза в неделю, такое расписание установила мать. Мальчику, разумеется, не говорили, чем болен отец, но по различным признакам, даже по такому, например, что однажды в коридоре больницы Елена Андреевна прервала беседу с врачом, завидев идущего к ней сына, и строго отослала его, велев подождать на диване, даже это сокрытие тайны отцовского заболевания, приводило негромкоголосого

тоненького мальчика к верным догадкам. Давненько уже не стремящийся к славе первого ученика, легко удовлетворяясь четвёрками, а порой и тройками, Андрюша теперь ради больного отца, неравнодушного к его школьным отметкам, старательней учился, приносил по воскресеньям папе на подпись классный дневник. Белокурый подросток, по-прежнему отличавшийся вопрошающим взглядом, и сдержанный его родитель, не терявший контроля над собой, в эти дни несколько сблизились. Такому сближению способствовал и еженедельно посылаемый Онисимову каталог книжных новинок. Сын и отец вместе в больничной палате отбирали названия для покупок. Онисимов, как и раньше, не прочь был пренебречь беллетристикой, но уступая вкусам Андрюши, соглашался приобрести, перелистать ту или иную книгу художественной прозы и даже стихов. Этим большей частью и исчерпывалось общение приученного дома к замкнутости мальчика и, как некогда Андрюша в уме определил, великого молчальника отца.

Случалось, текли, текли минуты, когда сын и отец ни словечком не прерывали молчания. Онисимов тянулся к газетам или папкам, Андрей подолгу глядел в окно. И однажды некая подсказка сердца осенила мальчика. Он стал приходить в отцовскую палату с томом Ленина, с тетрадкой. Усаживался за круглый столик, раскрывал страницы «Что делать?» — одну из главных работ Ленина, которую решил одолеть: ведь когда-то отец тоже прочел ее пятнадцатилетним.

Трудновато разбираться в прочитанном, но хочется доказать отцу и себе, что теперешние пятнадцатилетние тоже чего-то стоят.

И вот, облачённый по больничным правилам в белый халат, мальчик сидит у настольной, под зелёным абажуром, лампы; тоненькая, почти девичья шея, востроносенький профиль склонены к книге.

Андрей придвигает тетрадь, что-то записывает. Онисимов, устроившийся на диване со свежей «Вечёркой»,

ему только что поданной, встает, отложив газету. Пройдясь, смотрит в тетрадь сына. Тот, не поднимая головы, продолжает свое дело, заносит выдержку из Ленина, да, сын уже пишет не кривульками, почерк стал потверже. Хочется тронуть его белобрысую голову, ощутить пальцами мягкие волосы. Однако Онисимов отучился от ласки, уже к ней не способен.

И оба молчат. Зрачки Онисимова вновь устремляются в тетрадь сына... «Бесстрашно и последовательно...» Всегда ли он, отец, именно так продумывал свои мысли?

Сын пишет дальше. Отца потянуло прилечь на диван. Немного спустя, он негромко спрашивает:

«Андрейка, ты секреты хранить можешь?»

Мальчик встрепенулся. Кажется, настала минута, когда он по-настоящему нужен отцу.

«Могу».

«Тогда вот что. Принеси мне терапевтический справочник. Знаешь, у меня в кабинете.»

«Знаю, конечно.»

«Сделай это незаметно. И никому не говори.»

Андрей ничего не вымолвил, только закивал. Опять, как уже не один раз, сердце защемила жалость, заставившая не смотреть в это желтоватое лицо с привычной взору прической на пробор, жалость и любовь к заболевшему, надломленному, может быть, непоправимо, отцу. Давно уже Андрейка перестал видеть в отце свой идеал, однако, вместе с тем неизменно жалел его. Сейчас мальчик удерживает себя, чтобы ни взглядом, ни слезой не выдать пронизывающего сострадания. Не только принести по секрету отцу книгу, но и исполнить любую его просьбу, сделать что-нибудь большое для него — этого жаждет Андрюша.

Придя в неурочный день, он неприметно среди прочих книг притащил терапевтический справочник. А заодно, уже по собственной инициативе, захватил стоящую ря-

дом на полке «Общую терапию» Соловьева. Эту книгу Онисимов открыто положил на стол, а справочник припрятал, запер в ящик. И в одиночестве вчитывался, сопоставлял.

Очаговая пневмония... Симптомы более или менее соответствовали его состоянию: температура, кашель, одышка. У пожилых людей, — гласила справка, — болезнь нередко протекает вяло. При замедленном вялом течении пневмонии применяются средства, вызывающие общую перестройку организма: в частности, внутривливание глюкозы с аскорбиновой кислотой. Такого лечения он не получает. Видимо, не та, не та у него болезнь.

Снова и снова он обращался к справке о другом заболевании, опять взвешивал, сличал... Длительно сохраняется удовлетворительное самочувствие. Распознаванию помогает наличие увеличенных лимфатических желез, иногда грибковидные кожные наростания. Характерны загрудинные тупые боли. Всякие тепловые процедуры должны быть категорически запрещены. Рентгенотерапия массивными дозами. Однако, ему не применяют рентгенотерапию. Возможно, у него всё-таки не эта болезнь. Лечение в незапущенных случаях оперативное. Прогноз при запущенной опухоли безнадежен.

Да, много, много сходных симптомов. Лечение, правда, не совпадает. Пичкают лишь пенициллином и какими-то пилюлями. Но надо, надо быть готовым к худшему. То есть к близкому концу. И достойно его встретить. Привести в ажур все свои дела. Уйти безупречным. Завершить жизнь так, как этого требует честь верного сына своего государства, своей партии. Времени для этого ему отпущено, может быть, в обрез.

Однако, не зря ли он себя приуготовляет? Не исключено, что у него и впрямь лишь только пневмония. Сказано же в справочнике, что она, эта болезнь, знает немало разновидностей. Онисимов вновь раскрывал толстенную книгу, листал, вчитывался, соображал. Но

неясность оставалась: чем же, чем же всё-таки он болен? И не пытаются ли его обморочить?

И если это так — неужели вранье он не раскусит?

Неужели не хватит ума, чтобы, как он некогда в министерстве, в Комитете говаривал, *размотать это дело.*

Качества следователя, который умеет застичь врасплох, поймать подозреваемого, а на подозрении у Онисимова, 'не привирает ли', был чуть не каждый, — еще изощрились в нем с годами.

И разве в угольной и стальной эпархии, ему ранее подведомственной, кто-нибудь сумел бы его обдурить. Он тончайшим, что называется, верхним чутьем распознавал, разнюхивал всякую попытку втереть ему очки, приукрасить положение. К нему приросла поговорка, по-заводски грубоватая: 'Этот до исподнего дойдет'. Такая молва была ему известна, он ею гордился.

Нередко к его приезду на тот или иной завод цехи были выбелены мелом, дорожки меж цехами подметены, посыпаны песком. Онисимов, однако, как в свое время и Серго, остававшийся во многом образцом для него, шел на задворки, забирался в литейные канавы, пролезал под рабочие площадки, обнаруживал там грязь, захламленность, беспорядок.

И, приоткрыв белый оскал, — тут уж действуя по-своему, у Серго, подвластного порой неукротимой вспыльчивости, не было и в помине этакого жестокого оскала, — чуть ли не тыкал носом цеховое и заводское начальство в этот хаос, в эту грязь.

Безжалостно хлестал Онисимов и тех, кто не твердо, не точно знал свою специальность, свое дело... И умел таких ловить.

Вот он приходит в мартеновский или доменный цех, садится к столу, где лежат журналы плавок, изучает, перелистывает и, словно протыкая какую-нибудь цифру своим остро очиненным наивысшей жёсткости карандашом, требует у начальника цеха объяснений: почему тогда-то был превышен расход марганца, или

нарушен температурный режим, или сорван график? Его в равной мере настораживала и скрытая неуверенность и, наоборот, бойкость ответов. Впрочем, и некая золотая середина, — сдержанно спокойная манера, — не угашала онисимовской недоверчивости. В какую-то минуту он, глядя в журнал, спрашивал обычным строгим тоном:

«Почему вчера вторая печь шла полчаса тихим ходом?»

Следовал какой-либо правдоподобный ответ. Например:

«Запоздали ковши. И вот пришлось...»

«Из-за чего? Вы это выяснили?»

«Подъездной путь не принимал. Тут у нас...»

Не дослушав, Онисимов словно огревал кнутом:

«Врёте. Дела не знаете. Вчера ни одну печь на тихий ход не переводили.»

Таким приемом сбив, что называется, с катушек подчиненного, вступившего было на стезю вранья, Онисимов затем уже легко вытягивал из него правду, заставлял выкладывать, открывать истинные грехи производства.

Подобного рода западня, однако, не всегда срабатывала. Как-то Головня-младший стоял перед Онисимовым в пирометрической будке доменного цеха Кураковки. Пожалуй, это была первая их встреча. Нет, Онисимов познакомился с ним раньше, еще будучи наркомом стального проката и литья, — кажется, в 1939 году. Да, да, в тридцать девятом. Петр ему сразу не понравился, показался зазнайкой, фанфароном, выскочкой.

В памяти, без какой-либо логической последовательности, живо возник тот давний час. Августовская теплая ночь. Москва утихла. Ушли в парки на ночевку последние трамваи и автобусы. На перекрестках погасли, отдыхают светофоры. Спят москвичи. Однако светятся окна Кремлевского дворца, — машина Онисимова тогда как раз проезжала мимо. И продолжается рабочий день — или, если угодно, рабочая ночь, — наркомов, замов,

начальников отделов и главков, помощников, секретарей.
Онисимов, в ту пору нарком танкостроения, едет на площадь Ногина к наркому металла, чтобы предъявить серьезнейшие претензии свои относительно качества стали, поставляемой танковой промышленности. Правда, нарком металла в отъезде, а на хозяйстве остался, — таково привычное, вошедшее в обиход служилого круга выражение, — его первый заместитель Алексей Головня, сильный работник, знающий дело металлург, не склонный, как известно Онисимову, бросать слова на ветер.

Уже несколько погрузневший, — давало себя знать сидячее житье-бытье, — Алексей Головня в зеленоватой коверкотовой куртке прохаживался по кабинету и сразу же, едва Онисимов растворил дверь, пошел к нему. Когда-то в институте, они были однокурсниками, но дружеское 'ты' меж ними затем не удержалось. Быть может, переходу на 'вы' способствовал свойственный Онисимову отпечаток, налет официальности, как бы отстранявший любые, не относящиеся к делу разговоры, налет, столь же для Онисимова характерный, как и его белый подкрахмаленный воротничок.
Ступив в кабинет, Онисимов увидел, что в сторонке на диване сидит кто-то, — загорелый, худощавый, молодой, — не посчитавший нужным встать, когда вошел нарком танкостроения. Основательно пожав маленькую, почти женскую руку Онисимова, Головня кивком указал на сидевшего:
«Это мой брат Петро. Директор Кураковки.»
Тот, наконец, соизволил встать. Стоял и посматривал с улыбкой на аккуратнейше причесанного, со втиснутой в шею головой, зеленоглазого наркома. Эта улыбка, неведомо что означавшая, показалась Онисимову неуместной. Щенок. Что он испытал в минувших тридцать седьмом, тридцать восьмом годах? Как раз в эти времена в газетах много писали о старике доменщике Головне, а кстати и о его сыновьях-инженерах, тоже

избравших доменную специальность. И вот... Конечно, старый рыжий Головня и старший его сын заработали известность. А младший еще ничем себя не показавший, тоже, не угодно ли, принадлежит к династии. И пожалуйте — уже директор.

Острыми зрачками Онисимов еще раз вгляделся в Головню-младшего. На загорелом лбу белеет шрамик, — наверное, метка драчуна. В отличие от брата, нос не круглый, не картошкой, а тонкий, с горбинкой, как у отца. Однако глаза у братьев схожи — того цвета, который зовется голубым. Ворот легкой светлой рубашки младшего распахнут, цвет лица и шеи искрасна коричневый, — это не только печать южного знойного солнца, но и въевшаяся в кожу, ничем не отмываемая, мельчайшая рудная пыль, что выносится из старых, доживающих век, домен. Да, возможно, труженик. Но слишком вольно держится. Небрежно встрепаны русые с рыжинкой волосы. Мог бы хоть привести волосы в порядок. И застегнуть сорочку. И этак самоуверенно не улыбаться.

Отвернувшись, Онисимов зашагал к столу. Головня с вопросительной интонацией произнес:

«Брат, пожалуй, пока прогуляется.»

«Зачем? Мне он не мешает. Какие-либо особые секреты я обсуждать не собираюсь.»

Сев, раскрыв портфель, Онисимов без околичностей перешел к делу. Как всегда пунктуальный, он выложил, предъявил Головне тщательно подработанную документацию: лабораторные анализы, результаты испытаний, фотоснимки шлифов забракованной стали. И акты, акты, свидетельствующие, что целые партии листа или осевой заготовки из металла других профилей не пригодны, не отвечают кондициям, высоким требованиям танковой промышленности.

Головня, тяжко вздыхая, прочитывал бумагу за бумагой. И не пытался что-либо оспаривать. Ему-то было известно, сколь расстроена работа металлургии после

того, как все директора, да и многие их соратники, безвестно сгинули, скошенные арестами. Предстояли огромные усилия, чтобы снова внести четкость и ритм в производство, поднять и наладить выпуск годного металла.

Продолжая разговор, Онисимов стал язвительно высмеивать скоростные плавки и так называемых сталеваров-рекордистов.

«Эти ваши знаменитости выдают не сталь, а какую-то кашу. Какой-то суррогат. Перегружают ванну. И заменяют отсебятиной технологическую дисциплину. Конечно, вчерашние ура-рыцари, неучи в технике, могли допускать сие, но мы-то, слава Богу, технической грамоте обучены.»

'Вчерашние ура-рыцари' — Онисимов этак назвал блестящее созвездие директоров, выдвинувшихся в начале тридцатых годов и затем совсем недавно, со сталинской безжалостностью почти сплошь истребленных, созвездие, участь которых он и сам едва не разделил. Однако не разделил же. В своих тогдашних раздумьях о совершившемся, Онисимов склонялся к мысли, что уцелел закономерно. В чем же, как он полагал, эта закономерность? Конечно, сыграла некоторую роль его вкоренившаяся, ставшая второй натурой, преданность Хозяину, нерассуждающая готовность исполнять любое слово Сталина, — в такого рода исполнительности Онисимов находил высокое удовлетворение, наслаждение, но всё же одно это, вероятно, его бы не спасло. Не однажды ему думалось, что, к своему счастью, он вовремя успел получить высшее образование, стал прокатчиком-специалистом. А топор репрессий снес, свалил хозяйственников, ни черта, собственно, — так с присущей ему остротой мысленно он формулировал, — в технике не смысливших, никакой специальностью, кроме политики не обладавших. Организаторы производства, они, как не раз убеждался Онисимов, лишь весьма неконкретно, смутно знали заводское дело, производство, которым

руководили. Бег времени сделал их ненужными. И, наверное, опасными. История слишком хорошо их обучила тонкостям политической игры. Им на смену пришли люди совсем другого профиля, в большинстве молодые техники, вместе с которыми шагнул через порог лихолетия и он, инженер Онисимов. Правда, в такую схему многие факты не укладывались. Онисимов же ею в ту пору удовлетворился. Никому не высказав эту самобытную свою теорийку, он затем вообще перестал думать на эту тему. К философствованию он не приспособлен. Его дело — работать, точно, безупречно исполнять веления партии, поручения Сталина, вооружать страну мощными танками, сотнями танков, которые бронезащитой и маневренностью превзойдут немецкие, лучшие в Европе, не подведут в надвигающейся войне. И он резко, напористо предъявлял свои требования наркому металла.

«У вас же надежная, отработанная технология выплавки. И следовало бы строжайше запретить любые ее нарушения. Особенно этим вашим скоростникам. И неукоснительно их контролировать.»

Неожиданно прозвучал голос с дивана:

«Смутная логика.»

С усмешкой бросив эту реплику, Головня-младший пересел на край дивана, готовый ринуться в спор.

«Вы, товарищ Онисимов», продолжал он, «как видно, весьма смутно представляете себе скоростные плавки.»

Онисимов посмотрел на него через плечо. И, не удостоив возражением, отвернулся. Наглец. Ему, Онисимову, отлично защитившему диплом инженера-металлурга, два года затем проведшего рядовым вальцовщиком на заводах Англии, этот усмехающийся выскочка осмелился бросить именно то самое словцо — 'весьма смутно' — какое Онисимов в мыслях адресовал порубленным прежним работникам промышленности. Верный себе, он тотчас срезал Головню-младшего:

«Имеется способ убедиться», едко проговорил он, об-

ращаясь к старшему брату, «что у вас вольничают не только на заводах. Даже здесь, у вас в кабинете, молодой, но отнюдь не скромный товарищ, позволяет себе без разрешения влезть в наш разговор.»

Больше никакого внимания он этому младшему отпрыску знатной семьи не уделил. И проучив, об Онисимове так и говорили: 'не учит, а проучивает', это было ему известно, — едва кивнул Петру, когда уходил из кабинета.

Несколько месяцев спустя Онисимов был назначен наркомом стального проката и литья или, как говорилось, наркомом стали.

Осенью 1940 года Онисимов уже в новом качестве, выбрался в долгую поездку по заводам.

Ровно год назад в Европе, совсем под боком у Советского Союза, заполыхала вторая мировая война. Дивизии Гитлера чуть ли не одним рывком сломили Польшу. А через некоторое время танковыми колоннами ворвались во Францию, заставили ее капитулировать. И снова война на некий срок как бы затаилась. Надолго ли? Не пробьет ли вскоре и наш час?

В маршрут поездки наркома была включена и Кураковка. Онисимов там вновь повстречался с Головнеймладшим.

Выдался теплый денек бабьего лета. Вдвоем они шли по старому тесному двору старой Кураковки, столь не похожему на просторные с разветвленными автомобильными дорогами заводские территории вновь сооруженных комбинатов металлургии, — рослый, хотя и со втянутой в плечи головой, не расстававшийся с темной мягкой шляпой, темной поношенной пиджачной парой, Онисимов и шагавший с ним в ногу в легкой выцветшей синей спецовке, в кепке, порыжевшей от красноватой рудной пыли, окрасившей здесь ржавым оттенком и землю, и железо крыш, тонкий в кости, но с тяжелой нижней челюстью, тридцатилетний директор. Асфаль-

товая неширокая дорожка, — по ней они шагали, — вела к доменному цеху. Несколько в стороне виднелось зажатое между рельсовых путей кирпичное приземистое здание. Над ним чернели, уходя ввысь, две железные трубы.
«Здесь у тебя что?»
«Это, товарищ нарком, тут самая древняя постройка. Две маленькие мартеновские печки.»
«Какую сталь там сейчас делаешь?»
«Легированную. Для подводных лодок.»
«Номер заказа?»
Головня затруднился:
«Не помню, товарищ нарком.»
«Посмотри в записной книжке.»
«У меня это не записано. Если разрешите, сейчас позвоню, справлюсь в плановом отделе.»
«Я сам могу тебе дать справку», жестко сказал Онисимов.
И на память назвал номер заказа. Он, конечно, не добавил, что вчера, готовясь к обходу цехов, проштудировал номенклатуру заказов, порученных Кураковке. Впрочем, все показатели такого задания, как сталь для подводных лодок, выполняемого по особому правительственному распоряжению или предписанию, он, мог бы, пожалуй, и не нуждаясь в шпаргалке, привести наизусть в любой день и час.
Далее Онисимов продолжал свой немилосердный экзамен:
«Задание в тоннах? Срок отгрузки?»
На эти вопросы молодой директор, усмехнувшись, без запинки ответил. Усмешка казалась самоуверенной и дерзкой, Онисимов подавил раздражение. Этому баловню, принадлежавшему к именитой семье или, как с некоторых пор стали выражаться, династии доменщиков, он сегодня же еще всыплет. Истинная выволочка предстоит Головне в доменном цехе. А пока...
«Зайдем», коротко бросил нарком.

Рельсовый путь, куда они ступили, привел сквозь распахнутые настежь железные ворота на рабочую площадку двух сталеплавильных печей-маломерок.

Шла разливка стали. Пахло газом, стоял дымный туман, было душно. Бегущий из ковша жидкий металл бросал багряные отсветы на черные, поросшие копотью балки и стропила низкой кровли, на такую же прокопченную кирпичную кладку стен. Пожилой мастер в нахлобученной кепке, в брезентовой почерневшей спецовке, заслонив рукой лицо, смотрел, как лилась в изложницу жаркая струя. Онисимов шагнул к нему:

«Как ты глядишь?»

«А что? Обыкновенно.»

«Обыкновенно», едко проговорил за мастером нарком. «Почему так далеко стоишь? Где твое синее стекло? Почему не следишь за корочкой?»

«Слежу.»

«Что ты можешь увидеть без синего стекла? Где у тебя оно?»

Мастер вынул из кармана синее стекло в самодельной деревянной рамке. По стеклу змеилась трещина.

«В каком состоянии ты держишь свой инструмент?»

Онисимов выхватил у мастера стекло, рывком швырнул. Затем достал свое, окольцованное алюминием, протянул мастеру. Тот поднес к глазам стекло наркома, стал смотреть.

«Не так.»

Взявшись за брезентовый ворот, нарком подтащил мастера вплотную к пылающей жаром изложнице, и сам в шляпе, в подкрахмаленном воротничке, встал рядом. Слегка скручивались в излучениях металла ворсинки на его пиджаке.

«Дайте стекло», велел он Головне.

И не отступая хотя бы на пол шага, озаренный едва переносимым близким розовым отблеском, всматривался сквозь синюю пелену, препятствующую ослеплению, как сталь наполняет изложницу. Прокатчик, он

досконально знал и разливку, последнюю операцию сталеплавильных цехов. Наводя порядок, технологическую дисциплину, неуклонно требовал: наблюдать при разливке за состоянием корочки. Следить, чтобы корочка все время играла на расстоянии в один-два сантиметра от стенки. Если прилипает, ускорять струю. Иначе прилипание корочки отразится вторым сортом или браком при прокатке. Он даже издал среди других технологических инструкций и специальный приказ, дотошно перечисляющий правила разливки. А тут, на Кураковке, пожалуйста, дело идет так, словно и не было приказа.

Оставив мастера около изложницы, кинув уничтожающий взгляд на Головню, Онисимов подошел к окну опорожненной, источающей розоватый свет печи, намереваясь посмотреть подину. Путь к окну преграждала груда сброшенного раскаленного доломита, уже померкшего, подёрнутого пеплом. Онисимов шагнул на эту груду.

«Что вы, сгорите!» — прокричал Головня.

«Не красная девица», — мелочно ответил нарком.

Однако, жгучий жар уже пробрался сквозь подметки. Онисимов быстро отпрыгнул. И покосился на директора: не усмехнулся ли тот?

Несколько минут спустя они вышли через те же ворота. Наркома нагнал инженер — начальник смены.

«Товарищ нарком, возьмите свое стекло.»

«Отдайте мастеру на память. Да и другим пусть напоминает, что надо знать инструкции. Знать и соблюдать.»

По асфальтовой дорожке Онисимов и Головня опять шагали к домнам. Самонадеянный директор был уже слегка проучен. Догадывался ли он какую еще головомойку учинит ему нарком в доменном цехе? Почти две недели на заводе пребывала специальная обследовательская бригада наркомата, которую Онисимов по своему давнему правилу послал впереди себя. Ему сра-

зу же, лишь он сюда приехал, доложили, что Головня-младший затеял какие-то сомнительные опыты в доменном цехе. Затеял, не осведомив об этом наркомат, не испросив разрешения. Такие нравы были еще живучи в металлургии. У каждого барона своя фантазия, — этой поговоркой вновь назначенный строгий нарком уже не раз характеризовал порядки на заводах. Он, прошедший выучку у родоначальников стальной промышленности англичан, побывавший затем в Германии, воспринявший немецкую точность, пунктуальность, не допустит, чтобы на заводах каждый мудрил по-своему. Никаких нарушений выверенной, надежной технологии не потерпит, введет дисциплину. И Головня ты или не Головня, именит или не именит, а за самоуправство спустит с тебя шкуру, как со всякого иного.

Возле дорожки расположилось еще одно низенькое небольшое здание.

«Что здесь?»

«Столовая доменного цеха.»

«Ну-ка, заглянем. Где тут черный ход?»

Так Онисимов поступал всюду: казовой стороне не доверял, появлялся негаданно с черного хода, с задворок, застигал невзначай.

Спустившись по истоптанным каменным ступеням в полуподвал, они вошли в темноватое, примыкавшее к кухне, помещение. Несколько женщин чистили картошку. Все приостановили работу, поглядывая то на горбоносого директора, то на бледного в шляпе, никому тут не известного начальника. Онисимов всмотрелся, произнес:

«Почему так толсто срезаете?»

Ответила одна из женщин:

«Гнилая же.»

Онисимов подошел ближе, наклонился, взял с пола картошку, потом другую.

«Нет. Не гнилая.»

Нарком кинул картофелины, еще постоял, повернулся

и вышел. На воле достал платок, вытер испачканные пальцы. Головне едко сказал:
«Толстоваты очистки. Тащут домой.»
И ничего более не прибавил, — делай, мол, выводы сам: кругом жулье, — зашагал к высившейся невдалеке доменной печи номер один. Петр по-прежнему шел рядом. По железной лесенке, тоже красноватой от налета рудной пыли, они поднялись к печи, издававшей низкий ровный гул.
Пройдя в пирометрическую будку, — там то и дело на панели вспыхивали и потухали разноцветные глазки, — Онисимов сел, придвинул к себе, развернул журнал плавок. На вопросы наркома отвечал начальник цеха, такой же молодой, как директор, одетый в такую же блекло-синюю куртку. Порою волнение принуждало его запинаться, он пятнами краснел. Онисимов еще ни словом не обмолвился о самоуправных выдумках, введенных в цехе. Верный себе, он хотел сначала уличить собеседника в незнании дела, сбить его, высечь. И не поднимая глаз от журнала спросил:
«Почему вчера на второй печи дали пять холостых калош?»
Начальник цеха затруднился.
«Э...э... Вчера?»
«Да, да, вчера.»
Стоявший здесь же директор вдруг вмешался:
«На втором номере вчера не было холостых калош. Вы ошиблись, товарищ нарком.»
Петр Головня говорил твердо, но тоже волновался, — усмешка пропала, под кожей обозначились, заходили желваки. У Онисимова, фигурально выражаясь, зачесались руки, чтобы тут же приструнить Петра: 'Ты, как видно, не заводом занимаешься, а одним только доменным цехом. И к тому же выделываешь здесь всякие фортели'. Онисимов, однако, сдержался. Всему свое время. Сюда, в будку, вызваны и скоро явятся участники наркоматской бригады, в том числе глава доменной

группы инженер Земцов. Пусть он сначала в присутствии виновного доложит о технологических вольностях в Кураковке, об отсебятинах директора. А насчет дальнейшего позаботится нарком. Свое Петр получит.
И получил...

Это произошло там же в пирометрической будке домны № 1. Туда в назначенный час явились все, кого загодя нарком командировал в Кураковку, — начальник Главюга — узколицый, костлявый Миних, главный бухгалтер наркомата Шибаев, и глава доменной группы Земцов, наделенный крупной статью, что называется: солидный, с прической ежиком, накопивший не малый опыт заводского инженера и вместе с тем заработавший профессорское звание. Кстати отметим, что Земцов приобрел некоторое имя и как автор шахматных этюдов и задач. В поездки он непременно захватывал с собой шахматную литературу, подолгу колдовал в одиночку над доской. Онисимов любил сразиться с ним в вагоне. Как ни удивительно, в таких сражениях нарком большей частью одолевал этого квалифицированного игрока. Свои поражения Земцов объяснял тем, что-де сила в практической игре далеко не равнозначна способностям составлять задачи.

Втайне Онисимов его подозревал: не ловчит ли. Но партии выигрывал с удовольствием. И не скрывал перед собой этакую свою слабость, прощал ее себе.

Вокруг поцарапанного, много послужившего стола, со следами когда-то пролитых фиолетовых чернил, разместились и Онисимов, и приехавший с ним референт-секретарь, и Петр Головня, и начальник цеха. На подносе выстроились принесенные из буфета стаканы чаю и дешевая, зеленого стекла, вазочка с печеньем. Никто, однако, к угощению не притронулся. Онисимов ввел в наркомате железное правило: никогда и ничем на заводах не пользоваться, — не только, скажем, ужином или обедом у директора, но и хотя бы даровым стаканом

чая. Нарушителям такого правила доставалось на заседаниях коллегии, хлестал кнутиком нещадных слов. И сам подавал в командировках пример педантической воздержанности.

Время от времени дверь будки отворялась, врывался на секунду свист и гул, входил чернобровый, чисто выбритый мастер и исполнял свою работу: поглядывал на световые сигналы, на исчирканную черными линиями самопишущих приборов бумагу-миллиметровку. Потом уходил. Эти вторжения не прерывали заседания.

...Сунув в рот сигарету «Друг», закурив, Онисимов обратился к Земцову:

«Послушаем, Николай Федотович, тебя. Как тут на доменном фронте обстоят дела?»

Шахматист-доменщик поднялся. Баском, не торопясь, выдерживая паузы и порой двумя пальцами оттягивая выпяченную нижнюю губу, Земцов обстоятельно, в динамике, разобрал работу здешнего доменного цеха. Сам отвел необоснованные возможные нападки. Тем, кто тут присутствовал, было ведомо: в промышленности и на транспорте еще длилась полоса тяжелого разлада, расстройства, вызванного арестами миновавших недавно годов, арестами, которые подобно морю, чуть ли не сплошняком унесли и штабы хозяйственного руководства как в столице, так и на местах. Об этом, впрочем, говорить не полагалось. Итоги выплавки металла в 1939-м были печальны. И лишь к середине 1940-го, того, о котором сейчас на этих страницах идет речь, — сталелитейная промышленность, как и другие отрасли хозяйства, начали понемногу выправляться. Но еще неуверенно, с перебоями, с откатами.

Конечно и Кураковка страдала в те времена из-за того, что подача электроэнергии сократилась, нередко вдруг вовсе прерывалась, качество поступавших на завод плавильных материалов резко ухудшилось, да и тех постоянно не хватало — рудный двор оставался без руды, завалка домен шла с колес. Онисимов, назначенный в

такую пору наркомом стали, днями и ночами, бывало, следил из Москвы за продвижением к заводам чуть ли не каждого состава руды или известняка. Хроническая нехватка рабочих, текучесть, особенно там, где еще применялся отживший тяжелый ручной труд, тоже мучала Кураковку.

Земцов не затушевывал эти трудности. «В таких условиях доменный цех, справедливость требует это отметить», здоровяк инженер опять приостановился, потянул двумя пальцами губы, «доменный цех все же добился некоторых успехов. Кривая выплавки постепенно идет вверх. Можно ли, однако, этим удовлетвориться? Нет, плановое задание ни на одной печи еще не выполняется. Имеют место серьезнейшие промахи и, извините за прямоту, Петр Афанасьевич, — пороки заводского руководства.»

«Изучив дело на месте», продолжал Земцов, «мы выяснили следующее: тяжелое положение, в котором по сей день находится доменный цех, вызвано не только объективными причинами, но так же и тем, Петр Афанасьевич, что вы по молодости», с улыбкой, в которой читалось снисхождение, «по молодости, по горячности, мне особенно понятной, и меня когда-то числили в изобретателях, увлеклись беспочвенным, необоснованным или, позволю себе на правах старшего товарища такое выражение, дурным экспериментированием.»

Петр молча слушал, казался спокойным. Только мгновеньями поигрывали желваки.

Онисимов резко спросил:

«Кто тебе разрешил эти затеи?»

«Я говорил начальнику Главка о своей конструкции. Он не возражал против того, чтобы это опробовать, изучить.»

Онисимов задал вопрос Миниху:

«Ты подтверждаешь?»

«Такого разговора я не помню.»

«Так кто же разрешил?» повторил Онисимов. «Где это задокументировано?»
Петр не ответил.
«Кем же ты тут себя воображаешь? Удельным князьком, что ли? Доверили тебе завод, а ты, не угодно ли, воспользовался: дай-ка займусь за государственный счет своими выдумками. Завод для тебя собственная вотчина? Так тебя прикажешь понимать?»
«Я убежден», произнес Петр, «что рано или поздно мой способ восторжествует во всей металлургии. И принесет...»
«Я... я...» оборвал Онисимов. «Поменьше якай. Странно, каким образом ты, выросший в рабочей семье, набрался этого анархического индивидуализма. Фу ты ну ты, подумаешь, исключительная личность. Считаешь, что советские законы для тебя не писаны?»
«Этого я не считаю.»
«Почему же самовольничаешь?»
«Но мой способ вызван самой жизнью. Именно наша советская металлургия...»
«Наша металлургия нуждается прежде всего в строгом порядке. А ты его первый нарушаешь. Немудрено, что и в цехах у тебя разболтана технологическая дисциплина. Нам нужны не чудеса, которые ты сулишь, а будничная неустанная работа по наведению порядка. За такие номера, которые ты тут выкидываешь, тебя для примера иным-прочим следовало бы снять, но пока ограничиваюсь предупреждением. И всю эту музыку твою, отсебятину, потрудись прекратить. Немедленно прекратить.»

Лишь поздней ночью завершился разбор нужд и недочетов доменного цеха. Были записаны конкретные указания, решения, которым затем предстояло войти особым образом в приказ, что оставит здесь нарком.

В два или три часа ночи Онисимов отпустил заседавших. Такой режим он неизменно выдерживал, посещая

заводы. Работники наркомата, которые ему сопутствовали в поездках, звавшие себя с горьким юмором его лошадками, возвращались на ночлег всегда измочаленными, наголодавшимися, загнанными. А сам он будто отлитый из сверхпрочной стали, оставался свежим, сохранял остроту языка, остроту взгляда.

Покинув цех, нарком, сопровождаемый директором, пересек теснину рельсовых путей, выбрался на асфальтовую дорожку, где уже дежурила, ждала машина. Другая, предназначенная для его спутников, умчалась минуту назад, невдалеке еще виднелась удаляющаяся красная точка заднего фонарика. Вот и она скрылась. Шумы ночного завода казались приглушенными. Лишь иногда врывался лязг или свистящий резкий звук.

«Прошу вас», проговорил Петр, «разрешите мне на одной из печей изучить мой способ.»

«Опять двадцать пять», сказал Онисимов, «пройдемся, проводи меня немного.»

Они зашагали по краю дороги, следом, не обгоняя наркома, поползла машина. Онисимов недовольно оглянулся. Он и в Москве не допускал, чтобы автомобиль когда-либо следовал за ним, приноравливаясь к его шагу, считал барственной такую манеру. Подойдя к водителю, распорядился:

«Поезжай к главным воротам, подожди меня там.»

И вернулся к Петру. Некоторое время они шли молча.

«Подумалось сейчас о флокенах», — произнес Онисимов.

Интонация была мягкой, доверительной. Он словно отбросил свою всегдашнюю броню официальности.

«О флокенах?»

Обоим был прекрасно известен этот специальный металлургический термин, обозначавший не распознаваемый в те времена никакими приборами порок стального слитка. Наука выяснила лишь, что флокен вызывается мельчайшим, почти микроскопическим, застрявшим в теле слитка пузырьком водорода. В прокатке, под вал-

ками стана, такой пузырек вытягивается, становится тонкой, как волосок, трещинкой, своего рода червячком, ничем по-прежнему не дающим о себе знать. Зараженная флокенами сталь получает клеймо 'годная'. И только много времени спустя она, казалось бы надежная, пущенная в дело, ломалась, рвалась. Бывали крушения поездов из-за внезапного разрушения рельса, по всем признакам безукоризненного. Случалось, мгновенно трескался гребной винт корабля. Иногда вдруг рушились и прочнейшие, казалось бы, фермы и шестерни, и оси. И лишь в изломе обнаруживались губительные флокены, — серебристо-белые хлопья, окруженные темными пятнами усталости.

С давних пор флокены были излюбленной темой Онисимова. Тут, пожалуй, уместно упомянуть, что еще в молодости он, безупречный студент, парторг института, был прозван товарищами: человек без флокена. И гордился таким прозвищем.

Ныне подначальные Онисимову металлурги знали, что грозного наркома можно, по грубоватому словцу, *купить*, если перевести разговор на флокены. Онисимов в таких случаях воодушевлялся, входя в разнообразие тонкостей этой темной проблемы, приводил поразительные факты. И, как замечали, добрел, разговорясь. И на время можно было не опасаться его желчности, вспыльчивости.

Он и теперь, идя рядом с Петром, меряя шагами пустынную по-ночному дорожку, охотно рассуждал о флокенах. Казалось, несколько приподнялась всаженная в плечи голова. Онисимов отдыхал в эти минуты, вскочив на своего конька.

Петр, как читатель знает, не был наделен тактичностью. Он слушал, слушал, да и принялся за свое:

«Не вижу, товарищ нарком, какой-либо связи между моим способом и флокеном.»

«А я вижу.»

«В чем же она?»

Усмехаясь, — ох, уж эти его усмешки, — Петр в нескольких ясных фразах показал, что его способ, с какой стороны ни подойди, качеству металла отнюдь не угрожает. Да и вообще, уже открыты новые пути радикального очищения стали от всяческих газовых включений. Давно уже предложена разливка в вакууме. Надо и это испытать, изучить практически. Онисимов тут не вступил в спор, лишь обронил:

«Нет, с флокенами лучше не мудрить», теперь его тон был, как обычно, жестковат. «Кроме того, ты не учел, что о флокенах можно говорить и иносказательно. Твои изобретательские чудачества — это твой личный флокен. Лучше избавляйся от него своевременно.»

«А я стараюсь понять вас», негромко сказал Петр.

«Да, это уж придется тебе сделать.»

«Конечно, насчет моего способа я, видимо, ничего доказать вам не смогу. Оставим пока этот вопрос: удачен он или непригоден. Но если бы сверху вам сказали: окажи содействие...»

«Ну...»

«Или даже попросту кивнули, то я получил бы от вас всё, что надобно для моего изобретения, хорошее оно или плохое.»

«И что же из этого следует?»

Реплика прозвучала угрожающе. Петр ответил без запальчивости:

«Промышленность так жить не может. Думаю, что и вообще так жить нельзя.»

Ну, Онисимов тут ему врезал...

...Впрочем, зачем, зачем он сейчас об этом вспоминает? Ведь думалось о чем-то совсем другом.

Но снова врывается, течет в ум тот же поток.

...Пожалуй, именно та ночная прогулка от доменных печей к главным воротам, поначалу мирная, открывшая вольные мысли Головни, заставила Онисимова

твердо решить: с таким не поладишь, такого надо снять.

...Еще два-три дня Онисимов провел на заводе, попрежнему удивляя всех следовательской хваткой, пунктуальностью, неутомимостью, — чистых шестнадцать часов он и тут отдавал делу.

Накануне отъезда он выступил на собрании производственно-технического заводского актива. Начальники цехов и отделов, некоторые другие выделившиеся инженеры, лучшие мастера, передовики рабочих, руководители партийных и профсоюзных организаций, а также весь аппарат, сопутствовавший наркому, насчитывавший до тридцати различного рода специалистов, тесно заполнили ряды скамеек в сравнительно просторном, на четыре сотни мест, красном уголке листопроката.

Ограничившись лишь крайне сжатым политического характера вступлением, Онисимов деловито, конкретно анализировал работу завода. Смягчающие фразы, полутона или так называемое подрессоривание в его речи отсутствовали. Он указывал изъяны руководства, школил, стегал тех, кто был повинен в безалаберности, в пренебрежении к технологической и элементарной трудовой дисциплине, ставил доступные ясные задачи. Не помиловал и директора.

«К сожалению, товарищ Головня, вместо того, чтобы заниматься делом, организацией производства, увлекся собственными изобретениями. Он, видимо, думает, что завод дан ему на откуп: что хочу, то и творю. Он, однако, заблуждается. Директор, как и любой из нас, лишь исполняет службу, служит государству. И использовать свое служебное положение для всяких своих фантазий, фигле-миглей, никому в советской стране не дозволено. Общий порядок обязателен и для директора: обратись куда следует со своей задумкой. И ожидай результата!»

Сидевший на помосте за столом президиума горбоно-

сый, с рыжинкой в завитых природой волосах, молодой директор хмуро вставил:
«В котором вы уже мне отказали.»
«К вашему сведению, товарищ Головня, я не самодур-купчина, который по собственной прихоти может отказывать или не отказывать. Устройство, которое вы здесь самочинно завели, было основательно изучено специалистами. Они дали оценку: дурная отсебятина. Это рассматривал и я. Пришлось скомандовать: прекратите, товарищ Головня, свои художества.»
Петр еще раз бросил с места:
«Когда-нибудь всем будет известно, что вы это запретили!»
Онисимов резко обернулся. Вот как. Этот выскочка-упрямец и тут, перед четырьмястами металлургами, отваживается вякать, перечить наркому. Ну, я ему вякну.
«Да, запретил. И пришлю сюда своих контролеров, чтобы проверить, как вы исполняете приказ. И если свое партизанство не оставите, такой бенефис вам закачу, что не обрадуетесь. Завод вам не поместье и вы на нем не барин. Не стройте из себя сиятельную особу, привилегированную личность. У нас нет привилегированных. И я не посмотрю, что вы принадлежите к прославленной семье. Скидки на это вам не будет.»
«А мне ее и не надо.»
«Изволь со мной не пререкаться, какой пример ты подаешь?»
Переведя дыхание, Онисимов вернул себе невозмутимость. Вот зеленоватые острые глаза опять обратились к залу. Нарком счел нужным сказать еще несколько слов о директоре.
«Сегодняшнее поведение товарища Головни вновь убеждает меня в том, что заводом руководить он не может, и его следует снять.»
Слова были спокойны, весомы.
С таким решением — снять дерзкого директора — Онисимов на следующий день уехал из Кураковки.

Однако, смещение директора на большом заводе не могло быть произведено лишь его, Онисимова, властью. Руководители крупнейших строек и предприятий утверждались Центральным Комитетом партии, входили, говоря опять языком времени, в некую особую *номенклатуру*. Без санкции ЦК нельзя было отставить, сменить Головню-младшего.

Онисимов исподволь обдумывал аргументацию, которую выдвинет в разговоре наверху. В мыслях готовил записку на сей счет. Такого рода бумаги, адресованные в ЦК, он всегда составлял сам. Но за эту все не принимался. Возникавший в уме текст пока его неудовлетворял. Все же набросал черновик, показавшийся более или менее подходящим. Однако, лишь более или менее... Безотчетное, словно бы инстинктивное сомнение оставалось. Этому своему непонятному чутью он верил. Что же, успеется, повременю.

Вечером шестого ноября Онисимов, покинув в этот непривычно ранний для него час свой служебный кабинет, заехал домой переодеться и покатил с женой в Большой театр на традиционное торжественное заседание.

Пройдя через предназначенный для членов правительства расположенный в сторонке ход, Онисимов в черной новёхонькой пиджачной паре, в безукоризненно блестевших ботинках, и Елена Андреевна в сером, строгого покроя костюме, как бы подчеркивающем ее статность, прямизну, ничем не украшенном, если не считать воротничка шелковой кремовой блузки, что был выпущен поверх жакета, поднялись в боковую, примыкающую к сцене ложу. В своего рода передней комнате, отделенной от стульев тяжелой темно-зеленой занавесью, стояли Тевосян и его жена, очевидно, тоже только что приехавшие.

Смуглый, низкорослый, с яркой, до глянца черной шевелюрой, нарком металлургической промышленности радушно приветствовал вошедших. Его жена тоже улы-

балась. Легкий розовый шарф обвивал в меру полную ее шею. Русые волосы не были аскетически гладко зачесаны, но и не взбиты. Она поправила их перед висевшим тут же зеркалом, не сочла это для себя зазорным.

Невольно Онисимов сравнил ее, тоже избравшую профессию партийного работника, со своей женой. Обе были деятельницы, но сухость, свойственная Елене Андреевне, не положила своего отпечатка, даже и в черточках внешности на спутницу жизни Тевосяна. Глядя на нее, уже мать двоих детей, Онисимов в который уже раз втайне пожалел, что у него нет своего ребенка (в ту пору Андрейки еще не было в помине, лишь два года спустя, в дни войны, ему суждено было родиться).

Минуту-другую спустя женщины заняли свои места. А два наркома сели на диван. Здесь разрешалось курить и, заядлые курильщики, оба не пренебрегли возможностью сделать на скорую руку несколько затяжек. Онисимов поздравил Тевосяна. Впервые за много, много месяцев наркомат Тевосяна выполнил, наконец, план по чугуну.

«Рано поздравляешь», сказал Тевосян. «Выложу план по всему циклу, тогда дело другое. По-видимому, мы с тобой голова в голову к этому придем. Глядишь, ты еще вырвешься на ноздрю вперед.»

Онисимов не стал оспаривать такое предсказание. Действительно, подчиненные ему предприятия, в том числе и старая Кураковка, уверенно набирали темпы, совсем близко подошли к стопроцентному выполнению программы и по валу и по ассортименту. Уже нельзя было сомневаться, что в грядущий, сорок первый, — знал ли кто, каким грозным станет этот год? — промышленность, выпускающая сталь, войдет окрепшей.

«В общем», продолжал Тевосян, «если по нынешнему обыкновению потревожить Маяковского, сочтемся сла-

вой. И на поздравлениях давай поставим точку. Лучше скажи мне, какие у тебя впечатления от поездки?»

Онисимов охотно стал рассказывать. Верный себе, школе работяг, которым история дала миссию приструнивать и подхлестывать, скупых на похвалы, питающих отвращение и к самовосхвалению, — таков же, заметим, был и Тевосян, — Онисимов заговорил о том, чем возмущался в дни поездки. Нарушение режима, технологическая распущенность. Надобно еще и еще подтягивать гайки. Какой-то вопрос Тевосяна или, возможно, просто поворот фразы привел Онисимова к флокенам. Отдаленные последствия технологической неряшливости или самодовольства когда-нибудь еще скажутся. И вряд ли избежим малоприятного занятия: расследовать катастрофы. Тут Онисимову припомнился Головня-младший.

«Не люблю менять директоров», произнес он, «но решил от Петра Головни избавиться.»

Он кратко сообщил собеседнику о погрешностях директора Кураковки: самоуверен, подвержен изобретательскому зуду, непослушен, публично дерзит.

Темно-карие, почти черные, глаза Тевосяна не выразили одобрения.

«Знаешь, тебе могут сказать: ты предлагаешь странное. Молодой директор. Тянет неплохо. Ему надо помогать. Не спешишь ли ты?»

Невнятные сомнения, которые беспокоили Онисимова, мигом приобрели ясность, как бы кристаллизировались. Да, по всей видимости, ему скажут что-либо подобное. Но, однако, не сдался:

«Спешить, конечно, не к чему. Но, с другой стороны, если убежден, зачем тянуть?»

«Но убежден ли?»

В эту минуту откинулась темно-зеленая портьера, выглянула жена Тевосяна.

«Что же вы?» в спокойном звучном голосе слышался легкий упрек. «Думаете вас будут ждать?»

Сквозь приоткрытую драпировку дошла настороженная тишина, уже водворившаяся в зале. Оба наркома заторопились в ложу.

Установленный на сцене длинный стол еще пустовал. Театральными прожекторами был ярко высвечен на заднике своего рода огромный медальон: лицо нарисованного в профиль Сталина, и как бы служивший ему фоном профиль Ленина. Лишь изощренный взгляд мог бы отметить, как из года в год в таком двойном портрете Ленин становится чуть поменьше, а облик Хозяина крупней.

Юпитеры, доставленные кинохроникой, уже источали пучки слепящего голубоватого света, пока направленного в зал. Впрочем, один или два, еще не вспыхнувшие, были нацелены в глубину, за кулисы. В кулису уже вышли те, кто был приглашен занять места на сцене, тесно выстроились, оставив открытым ведущий к столу проход. Почти все они были хорошо известны. Вон несколько полярных летчиков, рядом широченный лысоватый конструктор авиационных моторов, далее столь же прославленный чернобородый академик. Различима красиво вскинутая голова Пыжова. Виден и седой зачес старой большевички, немилость миновала ее.

Не отрывая взора от кулисы, Тевосян легонько толкнул локтем Онисимова.

«Э, и старика Головню, гляди-ка, туда вытащили.»

Онисимов невозмутимо откликнулся:

«Что же, значит металлургам опять честь и место.»

Рыжеусый мастер-доменщик выглядывал из-за спин тех, кто стоял впереди. Видимо, он то и дело приподнимался на цыпочки, высовывая подальше горбоватый большой нос. Довольный, раскрасневшийся, Головня-отец всё посматривал в ту сторону, откуда вел проход.

Еще минута и как-то вдруг, хотя именно это и ожидалось, в проходе показался Сталин. Он шел не быстрым, но и не медлительным, словно деловым шагом. Его военного кроя одежда, пожалуй, так с былых лет и не

переменилась: вправленные в сапоги брюки защитного цвета, такая же куртка без каких-либо знаков. Впрочем, нет, это была не куртка, а отлично сшитый китель, свободно облегающий небольшое туловище. Даже и такие, не сразу уловимые изменения костюма, свидетельствовали: отброшен вид солдата, проступило некое иное обличие.

Хозяин шел вдоль рукоплескавшей шеренги, не поглядывая по сторонам, будто никого не видя. Неподвижность головы была величественной. Маленький его рост не замечался. За Сталиным, блюдя дистанции, следовала вереница его ближайших сподвижников. От зала он был еще заслонен кулисой, однако, возникшие на сцене аплодисменты сразу перекинулись туда.

Внезапно Сталин приостановился. Живым движением, — да, да, когда-то, еще на памяти Онисимова, он этак по-молодому оборачивался, — живым движением протянул кому-то руку из сгрудившихся в проходе. Кому же? Рыжему доменному мастеру. Мгновенно перед Головней расступились. Покраснела уже не только его физиономия, но и изрытая морщинами шея. Нарядный галстук съехал на бок, старый доменщик этого не замечал. Он обеими руками затряс кисть Сталина. Тот что-то проговорил, шевельнулись черные, еще казавшиеся густыми усы.

Вспыхнули наведенные юпитеры. Но кинокамера уже успела запечатлеть на кинопленку этот миг. Вновь обретя монументальность, опять недвижно неся голову, Сталин уже шел дальше. Рукой он как бы отмахнулся от льющегося на него света. Послушные этому безмолвному велению, пучки лучей тотчас несколько переменили направление.

Вслед Сталину, держа под мышкой папку, шагал Молотов. Он тоже остановился возле Головни-отца для рукопожатия. И далее, каждый в веренице, что двигалась за Сталиным, тоже задерживались близ рыжего мастера, пожимали ему руку. Казалось, все они без

рассуждений, единообразно исполняли команду. Мастер сперва все улыбался, потом на его красном лице, которое с удивительной непосредственностью передавало внутреннюю жизнь, выразилось удивление, а напоследок, когда с ним за руку здоровались совсем ему неведомые люди, он выглядел совсем ошарашенным.

А Хозяин уже стоял за столом и, не спеша, аплодировал, как бы отвечая на гремящие раскаты овации.

Изливая свои чувства преданности Сталину, веру в его гений, жарко хлопал в ладоши и Онисимов. В какую-то минуту его потянуло шепнуть Тевосяну: «Н-да... Непопадание в анализ.»

Однако, сработали действующие безотказно тормоза. Эту шутку он оставил при себе. Даже не произнес: 'Н-да...'

...Конечно, он отложил намерение сместить Головню-младшего. Но, разумеется, сохранил лицо. Онисимову в этом помог один номер «Правды», что вышел вскоре после миновавшей годовщины Октября.

Положив перед собой газету, он позвонил из своего кабинета директору Кураковки и, порасспросив о делах, сказал:

«Прочитай внимательно сегодняшнюю «Правду».»

«Я ее всегда внимательно читаю.»

«Сам поймешь, когда внимательно посмотришь. Но если желаешь, могу и сейчас удовлетворить твое любопытство. Напечатано постановление Совнаркома о самовольных нарушениях технологического режима в машиностроительной промышленности.»

«В машиностроительной?»

«Не беспокойся. Мы тоже тут никуда не денемся. Так процитировать?»

«Пожалуйста, послушаю.»

«Послушай. 'Внесение изменений в технологический процесс допускается только с разрешения народного комиссара'. Уяснил?»

«Это для меня не ново.»
«Но есть кое-что и новое. Послушай-ка еще: 'Невыполнение настоящего постановления рассматривать, как уголовное преступление, а директоров, главных инженеров и главных технологов заводов, допустивших эти нарушения, предавать суду'. Тебе понятно? Думаю, сможешь догадаться, кем это подписано.»
«Что же, почитаю еще сам.»
«Не только почитай, но и положи под стекло на стол, чтобы время от времени возобновлять в памяти. И продолжай работать. Но свои ереси забудь.»

...К чему, однако, внутреннему взору Онисимова, привалившегося к подушкам больничной кровати, всё представляется Петр Головня: зачем опять и опять представляется Сталин?
На уме ведь было иное: каким способом узнать истину о своей болезни?
И вместе с тем не зря, не зря мысль возвращается к дерзкому директору. Если Онисимову и впрямь отпущено совсем немного времени, то... То среди прочих дел, которые честь верного слуги государства и партии велит ему закончить, он обязан на что-то решиться и в отношении Петра Головни. Так или иначе, и эту страницу он должен оставить в ажуре.
Так чем же все-таки он болен?
Палата Онисимова принадлежала терапевтическому отделению, которым ведал профессор Фоменко. Грузный, с большим животом, совсем не похожий на элегантного, стройного Соловьева, к тому же еще бородатый, Владимир Петрович умел соединить твердость, определенность решений с успокоительными ласковыми словами и обычно снискивал доверие и расположение к себе больного.
Прослужив в этой больнице уже два десятка лет, он был в равной степени знаток и своей специальности врача-терапевта и особенного медицинского делопро-

изводства, составившего целые тома, всегда готовые для предъявления любой проверке или следствию. Неписанный закон: 'Если человек умрет, то пусть умрет по правилам', был вполне усвоен Фоменко. Грозы, разразившиеся в ушедшие времена над врачами, обходили его. Он знал, что коллеги дали ему прозвище 'колобок'. Что ж, он не прочь этак именоваться. Не прочь и повторить порой в уме лихое присловие колобка: 'Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от волка ушел, и от тебя, косой, уйду'.

И вот в какой-то серенький октябрьский денек бородатый профессор в халате наведался к Онисимову. Тот одетый, как на службе, — сидел за письменным столом над присланными ему газетами Тишляндии: он мог, уже пробыв там полгода, со словарем легко разбирать текст.

«Приятно видеть вас за работой», заговорил профессор. «Если тянет к работе, дело идет стало быть, к лучшему. Это по наблюдениям нашего брата, лекаря-практика, самый лучший признак. Ну-ка, погляжу на вас с окна.»

Падающий от окна свет отнюдь не развеивал землистую тень на лбу, на скулах, на чисто выбритых щеках Онисимова. Казалось, больной вот только что лежал уткнувшись лицом в сухую землю, оставившую свой серый пыльный след. Профессор, однако, изобразил удовлетворение.

«Да, видик стал покраше. И щеки, кажись, округлились. В весе, если не ошибаюсь, прибавляете?»

Хитрецу-профессору было отлично известно, как менялся в весе Онисимов, но он хотел якобы непроизвольно сделать на этом ударение.

«Прибавляю», — ответил Онисимов.

«Вот и хорошо. Как спите?»

«Тут сплю неплохо. Правда, с помощью этого вашего снотворного. За сие вам спасибо.»

Онисимов с полнейшей невозмутимостью высказал

свою благодарность, хотя никаких снотворных он в больнице пока не просил и не получал. 'Колобок' не выдал ничем недоумения, лишь маленькие глазки на миг воззрились в потолок.

«Ага, ага», подтвердил он. «Значит, так и будем продолжать. Теперь скажите, как боли? Не поменьшили?»

«Приступы, пожалуй, стали реже. И боль быстро успокаивается, когда применяю то, что вы мне прописали.»

Толстяк врач метнул на больного быстрый настороженный взгляд. Заточенный в палате дипломат, как бы в знак признательности улыбнулся. Красные крупные губы, живые блестящие глаза бородача изобразили в ответ добродушную улыбку. Однако под ней притаилось замешательство. 'Вы мне прописали'. Но что, собственно, он прописал? Обезболивающие средства Онисимову пока не давали, их очередь не наступила. Что же в таком разе? Неужели запамятовал, черт побери. Он вновь прибегнул к междометиям:

«Ага, ага...»

И продолжал:

«А сейчас, дорогой, оголяйтесь-ка до пояса. Послушаем ваши лёгкие, ваше сердечко.»

Онисимов обнажил впалую грудь. Хотя в последнее время он и набрал немного веса, однако, слой жирка, ранее приметный, был уже слизан болезнью. Вдоль узкой исхудалой спины прорисовывался позвоночник. На плечах тоже обозначился костяк. Профессор основательно, неторопливо выслушал с разных сторон грудную клетку больного.

«Да, хрипки есть, никуда не денешься. Они вас еще долго не отпустят. Это упорнейшая штука, очаговая пневмония. Одевайтесь. Исследований достаточно, картина нам ясна. В больнице, дорогой, вас уже незачем держать.»

Онисимов вмиг понял, что означало это 'незачем'. Но никак себя не выдал. Не переспросил. Не насторожил бородача. Тот продолжал:

«Вскоре, если на то будет ваша воля, переведем вас в санаторий. Это нам и консилиум порекомендовал. Теперь все уже сделает время. А мы, навязчивые врачеватели, уже, собственно, вам не нужны.»
Воркующий профессор, наверное, и не сознавал, сколь зловеще двусмысленны были эти его фразы.
«Поместим вас в 'Щеглы'. Бывали там? Расчудесное местечко. Сама природа там над вами поработает. Родные будут вас там постоянно навещать. Подержим вас там месячишка два. А то и три. Будете и в 'Щеглах' под нашим верховным наблюдением. Свежий воздух, покой — это главное ваше лекарство. А мы лишь поможем работе природы. Назначу вам, дорогой, рентгенотерапию.»
Послушное сдерживающим центрам изжелта-серое лицо Онисимова ничего не выражало. Он будто доверчиво внимал говорливому врачу. И лишь на миг слегка опустил веки, чтобы и в глазах не промелькнула боль понимания. Рентгенотерапия! Этим словно в лоб, как и в Тишляндии, была названа его болезнь. Застегивая твердый воротник своей сорочки, Онисимов произнес:

«А, это мне еще заграницей посоветовали... Массивными дозами, да?»
Голос и дыхание ему не изменили, оставались ровными.
Профессор предпочел уйти от прямого ответа:
«Вы уж вторгаетесь в нашу лекарскую кухню, где...»
Больной не дослушал:
«По методу, помнится, Диллона?»
Бородач опять насторожился, оглянул Онисимова. Тот стоял к нему в полоборота и, посматривая в окно, аккуратно повязывал темный галстук. Привычная дрожь сотрясала пальцы, ткань трепетала, но легла безупречным узлом.
«Завиднейшая у вас память.»
«Спасибо. Да, кажется, еще гожусь.»
Сейчас он, уперев пальцы в край стола, чтобы не дрожали руки, вновь улыбнулся:

«Мне хорошо помогают грелки. Снимают боль. По-видимому, вы их удачно назначили.»

«Грелки? Я назначил?»

«Чему вы удивляетесь? Здесь, наверное, где-то лежит на сей предмет ваша бумага.»

Онисимов еще находил силы выражаться в своей иронической манере. Профессор воззрился в потолок. Неужели он допустил эту оплошку, что-то перепутал, подмахнул противозаконное назначение: правда, дело идет всего только о грелках, но все же скандал. Подсудное дело. И главное, существует документ. Он отер рукой лоб, где проступила легкая испарина.

«Вспоминаю, вспоминаю... Но в вашем распоряжении имеются средства более эффективные. Кстати, дайте-ка взгляну на эту мою бумаженцию.»

«Вряд ли найду. Наверное, жена забрала домой. Она всё это хранит.»

Онисимов уже не угашал сухого блеска своих зеленоватых проницательных глаз, а в упор устремил их на профессора. Ни единого грубого или язвительного слова больной не произнес, но врач внутренне корчился, словно истязуемый. Щеки, к которым подступала борода, побагровели.

«Нельзя так, нельзя выносить отсюда наши медицинские бумаги. Вот мне она понадобилась, а...»

«Что вы волнуетесь? Такую же запись, сколько мне известны ваши правила, вы найдете и в истории болезни. Придете к себе, прочтете. Не так ли?»

Каждой своей репликой Онисимов длил экзекуцию. Его собеседник, считавшийся доныне образцовым врачом и администратором, в смятении смотрел на опять приоткрывшийся в улыбке оскал, на нестираемые тени обреченности, притемнившие лицо и руки этого человека, подхлестывавшего еще год назад министров. 'Всё знает. Все наши порядки'. Тянуло как-либо приличней закруглиться и уйти.

«Ага, ага... Теперь будем действовать более эффективно. И более тонко. Вы понимаете?»

Конечно, Онисимов мог бы еще незримым кнутиком стегнуть взволнованного толстяка, но вдруг будто угас. И лишь промолвил:

«Понимаю.»

Вспотевший, вымотанный этой беседой, профессор, наконец, распрощался, покинул палату-полулюкс. И, шумно отдуваясь, спустился по лестнице в свой кабинет. Запер дверь на ключ. Вынул из шкафа папку, в которой хранилась вся документация о больном Онисимове... Перелистал. Снова вернулся к первой странице. Еще раз все проверил. Что за черт, — тут ни о каких грелках ни словечка. Значит, Онисимов попросту, что называется, взял его на пушку. Ну, извините, дорогой, к вам я больше не ходок.

А Онисимов лежал, не раздевшись, не сняв галстука, презрев этим неизменную свою аккуратность, на широкой, как бы вовсе не больничной, красного дерева кровати. И глядел в стену.

Принесли обед. Больной покорно встал и поел. Потом все-таки переоделся, повесил костюм в шкаф, прилег на постель в пижаме. И снова уставился в стену.

В послеобеденный час к нему наведалась жена. Онисимов поднялся и, стараясь не утратить самообладания, сказал:

«Есть новости. Меня переводят в санаторий. И назначена рентгенотерапия.»

Вдруг он ощутил странную теплоту в уголках глаз. Провел рукой. Слезы вопреки воли катились по серым щекам.

Примерно час спустя Елена Андреевна дозвонилась Соловьеву в его кабинет главы института терапии.

«Николай Иванович, говорит Онисимова. Извините, что я...»

Ее звучный грудной голос был сейчас неузнаваемо высоким, в мембране слышалось учащенное дыхание.

Явно взволнованная, она все же блюла этикет вежливости.
«...Что я вас беспокою. Очень прошу вас приехать к Александру Леонтьевичу.»
Не стесненный ничьим взором, именитый врач поморщился. Всё ясно, помочь нельзя, к чему же приезжать? И произнес:
«А что случилось?»
«Сегодня он заплакал. Я первый раз в жизни увидела его слезы.»
«Да, представляю, тяжело.»
«Дело в том, что профессор Фоменко назначил ему рентгенотерапию, а Александр Леонтьевич вопросами заставил его... В общем, всё уяснил. И когда я пришла, стал мне рассказывать, и потекли слезы. Я прошу вас, приезжайте и что-нибудь ему скажите. Он вас охотно повидает. Никого другого сейчас видеть не хочет.»
«Не знаю. Тут есть одна неловкость. Собственно говоря, я для этой больницы посторонний.»
Несмотря на взволнованность, она уже предусмотрела такое сомнение.
«Профессор Фоменко тоже просит вас. Я звоню из его кабинета.»
«Хорошо. Немного подождите. Приеду.»
Кончив разговор, Соловьев вздохнул, придется сегодняшние планы изменить. Что же, надо попытаться успокоить Онисимова, как-то ослабить психическую травму. Быстро отдав несколько распоряжений, наведя порядок на письменном столе, Соловьев вызвал машину и, легкий, стройный, элегантный, прикрыв шляпой седой венчик, поехал в больницу, где лежал Онисимов. Признаться, снискавший широкое признание терапевт недолюбливал это выделенное среди иных лечебное заведение: еще в сталинское время он разрешил себе сказать, что там рентгеном просвечивают не столько больных, сколько врачей. И в стране, и во всем мире многое с тех пор переменилось, но медицинские поряд-

ки, как однажды, имея в виду все ту же больницу, пошутил Соловьев, выстояли.

В проходной для Соловьева уже был приготовлен пропуск. Приехавшего врача-ученого встретил в коридоре второго этажа бородатый заведующий отделением, уже избавившийся от ложных тревог, опять обретший располагающее благодушие. Он потащил к себе в кабинет своего изящного собрата.

«Уф, я с ним, Николай Иванович, натерпелся. Он всё понимает. Всю игру нашу разгадывает. И больше я к нему не пойду. Да и вам бы не советовал.»

«Все же надо заглянуть. Хоть из уважения.»

«Ну, вольному воля. Милости просим.»

Фоменко пододвинул гостю лежащую на столе папку. На обложке значилось: 'История болезни № 2277. А. Л. Онисимов'. В папке покоились уже несколько десятков исписанных страниц. Соловьев их полистал. Они содержали не только историю данного заболевания (анамнез морби, как говорят медики), но и своего рода историю жизни (анамнез вита). Сведения, занесенные сюда, уже не были новы для Соловьева, но сейчас предстали будто выстроенными в некий ряд.

До 1937-го здоровье было крепким. В 1937-м — острый гастрит. В 1938-м начал курить. Умнице-врачу комментариев тут не требовалось: неимоверным нервным напряжением, страшными ошибками отмечены эти два года в онисимовском анамнез вита. Недешево, видимо, он уплатил за то, что Сталин не тронул его, не лишил доверия.

И пошли болезни. Атеросклероз... Гипертония... Эндартериит... Лечился на ходу...

И еще одна дата: 1952-й. Дрожание рук с этого года. Тоже памятное время — владычество дряхлеющего Сталина.

Бог миловал, Соловьева никогда не звали врачевать Сталина. Да и вообще судьба избавила его от личного знакомства с Иосифом Виссарионовичем. Онисимову

же, конечно, довелось ближе узнать, каким стал Хозяин в старости. И, несомненно, испытать новые разрушительные ошибки, потрясения.

Дальше опять даты. Начало настоящего заболевания больной относит к 1957 году. В предыдущие годы не обследовался. Скрытая стадия предположительно протекала уже и в 1956-м.

Пятьдесят шестой. Знаменательная полоса. Ну, тут, видно, совпадение лишь случайное. И хватит социологировать. Надобно пробежать и анамнез морби...

Неопределенные тупые боли в грудной клетке. Тяжесть за грудиной с ощущением недостатка воздуха. Небольшой кашель, иногда усиливающийся. В волосистой части головы и под мышкой узлы, размером до горошины. Биопсия узла: наличие раковых клеток. Исследование мокроты: отдельные клетки раковой ткани. Рентген: в обоих легких уплотнения.

А вот среди ежедневных записей заключение консилиума, подписанное и Соловьевым: двухсторонний опухолевый процесс легких с множеством метастазов. Операция не показана.

Далее опять записи изо дня в день. Затем разгонистым почерком, — уже как бы без заботы об экономии места, — вписаны заключительные строки: целесообразен перевод больного в санаторий, применить там рентгеноскопию. Указаны и дозы облучения. Столь же разгониста и подпись: Фоменко. Ясное дело: рентген назначен для очистки совести. А что, впрочем, применять иное?

Проглядев папку, Соловьев еще некоторое время беседует с заведующим отделением. Тот, потупясь и поступясь самолюбием, повествует, как Онисимов его нынче одурачил.

«Он и вас, дражайший, помяните мое слово, вгонит в пот.»

«Как знать... Быть может, и не вгонит.»

Затем они уславливаются о дальнейшей тактике в отношении прозорливого больного.

В коридоре Соловьев встречает Елену Андреевну. Красные пятна проступают сквозь пудру на обвисших ее щеках. Зачес седых волос не столь гладок, как обычно, — выбилась одна-другая прядь. Автор «Общей терапии» выслушивает точный, несмотря на взбудораженность, рассказ жены Онисимова.

«Попытаюсь, Елена Андреевна, пролить немного бальзама в его душу. Попытаюсь, а там видно будет.»

Поднявшись по ступеням лестницы, устланной дорожкой, Соловьев стучит в дверь палаты-полулюкса. Стук остается без ответа. Соловьев решительно входит.

Первая комната пуста. Соловьев осматривается. На столе раскрытая книга. Э, так это же его собственная «Общая терапия». Открыта глава о злокачественных опухолях. И как раз та страница, где написано об эйфории, о том, что раковым больным свойственна повышенная внушаемость, готовность верить благоприятным истолкованиям, даже явному или чуть заметному вранью.

По-видимому Онисимов только что еще раз прочитал эту страницу, ему уже, несомненно, знакомую. Прочитал и ушел, не закрыв, не убрав книгу. Это совсем, совсем не похоже на него.

Глаза терапевта машинально пробегают по строкам. Хм, значит, тайна эйфории ведома Онисимову. Конечно, это затруднит миссию Соловьева. А то, быть может, сделает ее и вовсе невыполнимой. Но, всё равно, надобно вступить в игру.

Он вскидывает голову, слегка взбивает обеими руками седой венчик вокруг головы и восклицает:

«Александр Леонтьевич, ау!»

Из спальни появляется Онисимов. На нем полосатая пижама, слишком ему широкая в плечах. Лампа бросает зеленоватый свет на его словно запыленное лицо. Мрачны запавшие глаза.

«Здравствуйте, Николай Иванович, рад, что заглянули. Садитесь.»
«К чему у вас такая темь? Поневоле тут впадешь в мировую скорбь.»
Изящный посетитель-врач шагает к выключателю. Щелк, — комнату озаряет сильный, но не резкий свет.

Наметанным глазом Соловьев в тот же миг видит на лице Онисимова у левого уголка рта вновь проступивший узелок, маленький, величиной со спичечную головку, очень темный, почти черный. Эта ничтожная шишечка, еще не отмеченная в истории болезни, как бы возвещала, что вопреки кажущемуся улучшению, прибавке веса, болезнь неумолимо развивается.
Онисимов подходит к столу, бросает взгляд на раскрытую книгу, отодвигает ее, оба садятся на диван.
«Позвольте, Александр Леонтьевич, разговаривать с вами прямо.»
«Пора бы... Давно об этом вас прошу.»
«Так вот. Не буду скрывать, опять призван к вам, как врач.»
Онисимов слушает вяло, никак не реагирует. Соловьев, однако, не обескуражен, точно рассчитана его следующая фраза.
«Для этого есть свои основания.»
Неожиданно, чуть сконфуженная улыбка появляется на его тонком аристократическом лице:
«Не сочтите, что я высоко себя мню...»
На это высказывание больной опять не отзывается. Но все-таки выговаривает:
«Какие же?»
«Какие основания? Дело в том, что на консилиуме мы разошлись во мнениях. Я, собственно, оказался в единственном числе. А новые, более скрупулёзные анализы, подтвердили мою правоту.»
Автор «Общей терапии» вдохновенно сочиняет или, попросту говоря, врет. Но уже чего-то добился он, пробудил у Онисимова интерес.

«В чем же заключались разногласия?»
«С вашего позволения буду опять говорить прямо. На консилиуме я высказал мысль, что у вас не пневмония.»
«Это-то я знаю.»
«Не пневмония, а очень редкое заболевание: антиномикоз.»
«Как?»
«Антиномикоз. Редчайшая болезнь. Вызывается микроскопическим грибком. Лечить очень трудно. Упорнейшая штука. Иногда и несколько лет держится.»
Откинув край своего белого халата, он достает блокнот и дорогую, новейшего образца заграничную автоматическую ручку. Разборчиво пишет: 'Антиномикоз', вырывает листок, легко поднимается, кладет на стол. И объясняет Онисимову, какова эта болезнь, — ее происхождение, симптомы, течение. В какую-то минуту оборвав себя на полуслове, спрашивает:
«Кстати, нет ли у вас тут с собой терапевтического справочника? Там отлично всё это изложено.»
Удивленный догадливостью медика, Онисимов не отвечает. Тянет сказать 'нет', однако, этому мешает доверие, которое вновь ему уже внушает Соловьев. Не хочется и выговаривать 'да' — ростки доверия еще очень слабенькие.
«И в моей книжке», — продолжает Соловьев, — «найдете несколько слов об этой болезни.»
Сейчас он был непрочь взять в руки свою книгу, раскрытую там, где идет речь об эйфории, перевернуть эту страницу, полистать, но чутье предостерегает, не возбуди подозрительности Онисимова. И Соловьев не притрагивается к книге.
«Мы это лечим рентгенотерапией», сообщает он, «массивными дозами. И надо быть готовым к длительной борьбе.»
«Почему же Фоменко мне этого не сказал?»
«Тут свои нравы: заботятся прежде всего о том, чтобы не беспокоить больного. Не доставлять больному не-

приятных переживаний. Конечно, в известных пределах тут есть свой резон. Я имею в виду случаи, когда медицина складывает оружие. Но мы же вступаем в борьбу против вашего недуга. В войну, повторяю, долгую, трудную, где наши успехи будут, вероятно, чередоваться с новыми вспышками болезни. Вы мужественный человек. Истина, как я убежден, вооружит вас для борьбы.»

Онисимов внимательно слушает. И сам не замечает, как мало-помалу притупляется его следовательская настороженность. Он уже не ловит собеседника, не припирает его к стенке, поддается обману. Конечно, сейчас это не тот Онисимов, каким его знали десятилетиями.

Он трогает крохотное черноватое вздутие в левом углу рта:

«А отчего же у меня вот эти пупырышки?»

«Это воспаление сальных желез кожи. Самостоятельное заболевание. Таким образом, мы наблюдаем у вас две разные болезни. Хотя, возможно, и взаимосвязанные.»

В общем, как впоследствии выразился Соловьев, рассказывая автору о своих встречах с Онисимовым, он, ученый медик, городил наукообразную чушь. А Александр Леонтьевич, трогая рукой проступившие наружу узелки, находил убедительными фантазии Соловьева.

«Но для чего же меня осматривал хирург? Разве не исключена операция?»

«Да, антиномиков тоже иногда оперируют. Но пока для этого нет оснований. А кроме того, эти сальные железы мы, может быть, тоже будем удалять. Впрочем, посмотрим. Торопиться некуда.»

«Вы ко мне будете наезжать в санаторий?»

«Конечно. Теперь вас не оставлю.»

Онисимов вдруг оживляется, пересаживается к столу, показывает присланные из МИДа папки с обзорами газет и журналов из тишляндской хроники. Он опять

чувствует себя советским дипломатом в Тишляндии, лишь на время по болезни выбывшим. Терапевт внимает с интересом, улыбается. Миловидные ямочки обозначаются на его щеках. Он, конечно, сегодня выиграл эту партию. Но отлично знает: бодрость, опьянение еще не раз у Онисимова сменится трезвым пониманием неизбежного близкого исхода. Однако, опять и опять покажет себя эйфория.

Соловьев, наконец, прощается. Больной провожает профессора до двери.

Вернувшись в одиночестве к столу, Онисимов достает припрятанный терапевтический справочник, находит в указателе названную Соловьевым болезнь, проглатывает текст, затем перечитывает медленней. Да, всё соответствует. Да, почти всё совпадает.

Дату следующего действия нашей хроники мы можем точно обозначить. Ориентиром тут является всесоюзное совещание доменщиков в Андриановке, — одном из металлургических центров Донбасса. День открытия был указан в пригласительных билетах: 28-е октября 1957 года.

Накануне, в предобеденный час, со скорого поезда, идущего в Минеральные Воды, а пока что пересекавшего Донбасс, на маленькой, почти безвестной станции Греки, где расписание предусматривало остановку лишь на одну минуту, сошел человек, видимо, решивший поохотиться. Высокие, обтягивающие ногу и поверх колен, болотные сапоги, потертая, даже побелевшая, некогда коричневая кожанка, истрепанная темная кепка, сетка для добычи, пояс-патронташ, двустволка в чехле за плечом, — таким было хорошо пригнанное, явно не впервой надетое снаряжение покинувшего вагон пассажира. Он легко соскочил, легкой поступью пошел, но вместе с тем казалось, что он тяжеловесен, особенно сзади, с сутуловатой широкой спины. Вот он обернулся, нашел кого-то взглядом за окном вагона, помахал ру-

кой. Его неясные серые глаза, ставшие сейчас почти васильковыми, свидетельствуют о прекрасном настроении, и прирожденная, чуть озорная улыбка, красит загорелое с грубоватой нижней челюстью лицо.

Надеемся, читатель узнал Головню-младшего. Это его родные места. Он родился, вырос в Андриановке, поступил здесь четырнадцати лет учеником-газовщиком в доменный цех. Страстный охотник, он еще подростком, затем юношей, исходил тут поля, балки, перелески на тридцать-сорок километров во все стороны от Андриановки. И, конечно, знает еще издавна, что отсюда, из Греков, можно выйти напрямую к заводскому ставку, а там и к Нижней Колонии, — поселку, наименованному так еще в те времена, когда Андриановский завод принадлежал французскому Генеральному обществу.

Придется пошагать несколько часов, ну, ему только этого и надо. Завтра, как предуведомлено в повестке дня, он выступит с сообщением, а сейчас — вон из головы доменные печи.

Кстати, в вагоне только о них и разговаривали. Еще бы, ехали доменщики соседних двух заводов, да и ученая братия с кафедры чугуна Днепровского металлургического института. И, разумеется, он, директор Кураковки, был главным спорщиком. А сейчас вышел из вагона даже без записной книжки, с которой обычно не расставался. Нарочно ее не захватил. В ней мысли о заводе. Задания самому себе. Кое-какие еще надобно вынашивать. К другим же приложить руки. Но сегодня из этого он выключится. Пусть голову провеет, прочистит ветерок, — тем более, нынче он, кажется, крепко задувает.

Над станцией разносится протяжный гудок отправления. Петр все еще посматривает на вагон, в котором ехал. Сквозь оконные стекла кураковцы, — из них лишь двое в летах, остальных иначе не назовешь, как молодыми, — кивают директору-охотнику, оставившему на их попечение свои вещи. Состав трогается, набирает

ход. Еще минута-другая, — и поезд уже неприметен, видны лишь далекие космы паровозного дыма.

Выбираясь из пристанционного поселка, Петр с двустволкой за плечом шагает по обочине вдоль полосы асфальта, устремившейся к скрытой за горизонтом Андриановке. Туда и оттуда с шумом проносятся грузовики, порой прошелестит и легковушка. День выдался солнечный, но неожиданно морозный для такой поры. Да еще с ветром. В тени, пожалуй, три-четыре градуса ниже нуля. Трава на теневом склоне кювета закуржавела.

Петр идет ходко. Вон за тем кустом он свернет в степь, направится к темнеющему невдалеке, облетевшему кустарнику. Но что это? Обогнавшая Петра черная, играющая солнечными бликами «Волга» вдруг резко стопорит, потом задним ходом катится к нему. И снова останавливается. Из раскрывшейся дверцы высовывается академик Челышев. Петр с уважением кланяется.

«Еду и гляжу», говорит Челышев, «и себе не верю. Неужели Головня? Ан, и впрямь он. Но как сие надо понимать?»

Головня улыбается:

«Я тоже, Василий Данилович, затрудняюсь: как мне эту встречу с вами толковать?»

«У меня-то дело ясное. Прибыл самолетом. Теперь везут полным ходом в Андриановку.»

«Я не о том. Добрая встреча — хорошая примета для охотника.»

«Да как же вы тут заделались охотником?»

«Сошел с поезда и вот...»

«И пехтурой до Андриановки?»

«Пройдусь. Может быть, и дичина какая-нибудь подвернется.»

«Бросьте. Какая тут дичина? Местные силы, наверное, еще летом всё повыбили. Лучше садитесь-ка ко мне.»

«Спасибо. Но мы, охотники, народ особенный. Не уговорите.»

«Придете же ни с чем.»
«Еще, пожалуйста, пожелайте неудачи. Превосходная примета.»
«Ну вас... Всё равно зря. Говорю по-дружески...»
«По-дружески?» в уголках некрупных губ Петра возникает тонкая усмешка. «И чистосердечно?»
Неожиданно Челышеву понадобилось прокашляться. Это, однако, не останавливает Головню:
«Разрешите, я так и запишу», всё с той же проступающей усмешкой, Петр делает вид, что достает записную книжку. И незримым карандашом как бы строчит, произнося вслух: «Скажу по-дружески и чистосердечно: 'придёте же ни с чем'. Теперь поставим нынешнее число.»
Затем Петр прячет свою воображаемую книжку. Челышев, наконец, откашлялся.
«Стало быть, со мной не едете? Ну, до свидания.»
Дверца захлопнулась. Фыркнув, машина уходит в Андриановку.
Еще никогда Головня-младший не позволял себе напомнить Челышеву о том, как в первую зиму войны в коридоре наркомата, эвакуированного на Урал, достал записную книжку, застрочил. Сегодня впервые намеком коснулся этого давнего случая.
Сколько же с тех пор протекло лет? Почти семнадцать.

Да, они повстречались вечером седьмого ноября 1941 года в праздничный день еще одной годовщины советского государства. Впрочем, было не до праздников. Наркомат работал и седьмого ноября. Лишь поутру, в честь годовщины, в просторный, хотя и заставленный письменными столами холл гостиницы, что стала служебным пристанищем подчиненных Онисимову управлений и отделов, сгрудились все сотрудники и молча внимали мембране или, так называемой, радиотарелке, которая транслировала парад войск на Красной площади в Москве. Затем богатый оттенками дикторский голос, доносивший самим своим звучанием серьезность,

торжественность исторических минут, прочитал вчерашнюю речь Сталина.

С третьего этажа в холл спустился и Онисимов. Прослушал передачу, стоя рядом с подчиненными, хотя мог бы воспользоваться отличным радиоприемником, находившимся в его кабинете. Онисимов почти не изменился в пору войны. Только слегка потемнело правильное, античного рисунка лицо или, точнее, усилился его коричневый тон. Угрюмая тень стала особенно заметной с того дня, когда Онисимов, всё еще не покидавший своего командного отсека в Москве, введший там для немногочисленного аппарата, оставшегося с ним, *казарменное положение,* в чем первый же служил для всех примером, вдруг получил распоряжение немедленно покинуть столицу. И в переполненном дачном вагоне уехал на Восток. Здесь, на Урале, постоянно с ним общаясь, Челышев еще не видывал его улыбающимся.

По окончании передачи, Онисимов коротко сказал: «Товарищи, теперь за работу. По местам.»

Пожалуй, в тот день Онисимов еще повысил напряжение трудовых военных будней. Даже с Челышевым, в чем-то промешкавшим, говорил колко.

Вечером Челышев в своем небольшом кабинете, ранее являвшемся гостиничной келейкой, занимался кропотливым делом, — планами размещения эвакуированных цехов, *привязывания* к заводам Востока. Хорошо, что еще в тридцатых, когда строился Новоуралсталь, он тут все изъездил, исходил и Магнитку, и Нижне-Тагильский комбинат, и многие старые, тогда только во всю обновлявшиеся заводы и заводики.

Помнится, в тот вечер седьмого ноября, он всё перебирал, перекладывал листы синек, — на каждой белыми и цветными линиями была нанесена планировка того или иного восточного завода, — листы, уже испещренные его пометками.

В какую-то минуту затрещал внутренний телефон связи. Звонил Онисимов:

«Зайдите ко мне.»
Ступив в кабинет наркома, Челышев не без удивления узрел повеселевшего Онисимова. Налет пасмурности был словно смыт. Казалось, коричневый отлив стал посветлей, живая краска, что-то вроде румянца, просквозила на щеках. Неожиданная открытая улыбка тоже его красила.
«Садитесь», — предложил он, но сам остался на ногах. Чувствовалось, что его бьет озноб возбуждения. Что же с ним? Что произошло?
Заинтересованно ожидая дальнейшего, Челышев уселся. Не подвергая испытанию терпение академика, Онисимов без предисловий сообщил:
«Только что со мной говорил Хозяин». Откуда ни возьмись, высокие ноты, молодая до странности звонкость изменила на миг голос Онисимова. «Нам поставлена задача строить новые заводы: и с таким расчетом, чтобы быстрее взять отдачу. Надо разработать план и доложить наши предложения.»
Онисимов уже обрел деловой тон.
Однако с несвойственной ему словоохотливостью, и опять улыбаясь, он продолжал:
«А, что скажете? Немцы под Москвой, а Хозяин дает команду строить новые заводы.»
Челышев промолчал. Ему требовалось некоторое время, чтобы подумать, пережить услышанное. Но, помнится, на душе полегчало.
Не раз в те смутные горькие недели на ум приходило: выстоим ли? Выдюжим ли эту войну, самую страшную, самую грозную из всех, какие знавала Россия? Такие вопросы томили академика, жили в нем подспудно, чем бы он ни был загружен.
Перед войной Челышеву была доступна иностранная печать, предупреждавшая, что гитлеровские армии уже сосредоточены у советских границ, что вот-вот произойдет нападение. Потом, когда предостережения оправдались, он неуверенно, туманно прозревал, что в военных

неудачах, несчастьях повинен чем-то Сталин. Но как же это так: готовил страну к войне, а грянул час, сам же оказался неготовым к ней.

Не в силах разъяснить подобные разительные противоречия, найти к ним ключ, отнюдь не помышляя о формуле, лишь много лет спустя примененной к Сталину: *пороки личности*. Он не задерживался на этих бесплодных, как ему казалось, думах.

Но неужто теперь самое страшное позади? Утренняя передача из Москвы вселяла веру. А этот звонок Сталина Онисимову и вовсе добрый знак. И все же истосковавшийся по желанным вестям, Челышев не решался еще, не смог вздохнуть полной грудью.

«Ежели такое поднимать», проговорил он, «где же по нынешним временам достанем механизмы? И строителей?»

«Это предусмотрено. Берия поручено сформировать для нас стройорганизации. Народу в его системе хватит. Да и всего прочего. Зарекомендовали они себя не плохо. Свое дело знают: огородятся проволокой и... И горячо пойдет. Не было бы за нами остановки. Надо составить точные заявки. И готовить рабочие чертежи.»

По-прежнему весело, воодушевленно Онисимов излагал задачу. Теперь и лагеря, где не столь давно сгинул его брат, сосредоточившиеся за колючей проволокой, будто в ином свете, неисчислимые массы заключенных представлялись ему, как трудовые соединения, высоко дисциплинированные, легко поддающиеся переброскам, необходимым в условиях войны, заблаговременно подготовленные Хозяином.

Онисимов сел за стол, придвинул большой блокнот и, советуясь с Челышевым, стал тут же набрасывать план сооружения новых сталелитейных заводов. Своим твёрдым карандашом он записывал пункт за пунктом. Прежде всего форсированно завершить, ввести в строй первую очередь Южноуральского трубного. Вместе с тем выстроить Челябинский, — площадка выбрана, готовый

проект уже имеется. А так же Бакальский, — проект тоже подготовлен. Челышев предложил перекинуть на Бакальскую площадку недостроенный Курский завод, где перед войной уже начался монтаж первых печей, но оказавшийся вблизи линии фронта, вследствие чего работы остановились.

Онисимов сказал:

«Да, выроем там всё из-под земли. Всё вывезем до грамма». — Тут в кабинет почти неслышно ступил начальник секретариата лысый Серебрянников.

«Чего тебе?»

Как бы неторопливой и все-таки быстрой походкой Серебрянников прошагал к наркому:

«Приехал Головня-младший. Ждет в приемной.»

«Пожалуй, это кстати. Давай его сюда!..»

Вошедший Головня еще не согрелся с мороза. Малиновым огнем горело иссеченное вьюгой лицо. Красными были и руки, которые, видимо, так и оставались голыми на морозе. Коричневую кожанку он стянул в талии ремешком, чтобы не поддувало снизу. И забыл, входя к наркому, снять эту опояску.

«Здравствуй, в такой одежонке ты еще щеголяешь?»

«Вчера выехал из Орска. Там тепло. А у вас тут, ух, морозище!»

«Садись. Отчет об эвакуации завода привез?»

«С этим и прибыл. Только вчера закончили.»

«Всё оборудование на месте? Ничего не растерял?»

«Потерянное мы разыскали. Отчет подписали и ваши контролеры. Документация в портфель не влезла, пришлось укладывать в чемоданчик. Принести?»

«Успеется.»

Онисимов задал еще несколько вопросов о том, как размещены рабочие, как обеспечено складирование и сохранность демонтированных, вывезенных из Приднепровья агрегатов, какие из них уже собраны или пошли в сборку на новых площадках. Собственно, он и без того был досконально *информирован*, отлично знал,

что снарядный цех Кураковки уже развернут в Златоусте, уже прокатывает, штампует сталь, хотя над станом еще не выведена кровля. Однако, следуя твердому правилу, он сейчас перепроверял имевшиеся у него сведения.

Челышев помнил, как еще в Москве, в лихорадочные ночи и дни, когда эвакуировались южные заводы, Онисимов словно усугубил свою педантичность, пунктуальность. Не раз Челышеву доводилось наблюдать, как Онисимов по телефону требовал от того же Головнимладшего, отправлявшего под раскаты орудийной пальбы состав за составом из Кураковки, маркировать каждый большой и малый ящик, оформлять вместе с железнодорожниками акты, квитанции, накладные, не выпускать ни одного вагона без сопровождающих. Туда, в самое пекло, Онисимов на попутных военных машинах, самолетах посылал работников своего аппарата контролировать ход эвакуации. И закатил однажды взбучку вот этому молодому Головне, когда кто-то из посланных сообщил, что горловина бункера и какие-то части грейферного крана были в спешке, в горячке вывезены незамаркированными. Установленный Онисимовым порядок маркировки был таков: каждая деталь того или иного демонтированного агрегата метилась одинаковой буквой, затем следовала цифра. Головню же постиг и другой немилосердный нагоняй из-за того, что экскаватор, у которого порвалась гусеница, остался непогруженным. Наконец, из Кураковки ушел последний поезд. Связь еще действовала, Петр доложил, что отправляет и грузовики с группой подрывников, выполнивших свою миссию, и просил разрешения покинуть завод с ними. Онисимов ответил: 'Нет, вот еще чем займись: собирай, выстраивай рабочих, которые еще не эвакуировались. Уходи с ними. Веди в Донбасс пешей колонной'.

Бывало, прислушиваясь к таким командам наркома, Челышев невольно любовался им, уверяясь: 'Победим'.

Головня-младший так и ушел из Кураковки пешком. И не в одиночку.
А потом, уже на Урале, потребовалось, согласно непреложному приказу наркома, не только комплектно собрать всё, что было вывезено, но и представить подробнейший, оснащенный документами, отчет об эвакуации, отчитаться в каждом израсходованном государственном рубле, в каждом механизме, каждом мотке кабеля, числившимся на балансе завода.
Заболевшие, отцепленные в пути вагоны, были разысканы в станционных тупиках. Пришлось распутывать маркировку, просматривать в натуре каждую метку, сличать с документацией. Специальная комиссия с участием ревизоров наркомата подписывала всякие акты, инвентарные реестры, дефектные ведомости и так далее. После кропотливой работы Головня смог, наконец, явиться с отчетом к Онисимову.
Порасспросив, Онисимов встал из-за стола. Прошелся, достал из кармана папиросы «Беломор» (война прервала выпуск его любимых сигарет) и неожиданно протянул руку Головне:
«Тащи, в передрягах и ты, наверняка, стал курящим?»

Безмолвно взирая, Челышев опять ощутил, что Онисимов необыкновенно возбужден. Не в правилах строгого наркома было угощать папиросой подчиненного.
«Не угадали, не курю, спасибо.»
Чиркнув спичкой, Онисимов глубоко вобрал и выпустил дымок. Челышев во второй раз услышал:
«Только что со мной говорил Хозяин.»
Теперь эти слова были обращены к Головне-младшему. Не пряча счастливой возбужденности, — лишь слегка приторможенная, она пробивалась сквозь его всегдашний панцирь, — Онисимов опять пересказал: решено строить новые заводы, строить быстро, чтобы поскорее взять отдачу. Он, видимо, в точности повторял выражения Сталина.
«Понимаешь, какую он видит перспективу.»

Нарком присел, но тотчас поднялся, заходил.
«Ну, как же быть с тобой? Дело тебе найдется. Кстати, ты и приехал без портфеля.»
Он засмеялся своей шутке. Или, говоря точней, будто вытолкнул из горла несколько отрывистых, глухо бухающих звуков. Смех не был ему свойствен. Во всяком случае, Челышев отметил тогда в своей тетради, что Онисимов доселе еще никогда при нем не хохотал.

«Итак, товарищ экс-директор, или директор без портфеля, куда тебя назначить? Что ты хотел бы сам?»
«Готов взять любую работу, где буду нужен.»
«А если пошлю не директором завода?»
«Что ж, готов. Я бы не прочь пойти к большим печам, скажем на Новоуралсталь.»
«Нет, там полно. На Бакальский завод пойдешь?»
«Какой?»
«Бакальский. Там, собственно, еще ничего нет. Пока только площадка, нетронутый березнячок. Но проект имеется. Имеются и директор, и главный инженер». Онисимов назвал фамилии. «Геодезисты, сколь знаю, кое-где вбили колышки, нанесли главные óси. Теперь развернем, погоним стройку. Согласен туда идти начальником доменного цеха?»
«Пойду.»
«В таком случае — приступай. Езжай сначала на площадку, потом в Челябинский филиал Гипромеза. Основательно изучи проект.»
Продолжая пункт за пунктом конкретизировать задачи, что предстояли Головне-младшему, Онисимов нажал кнопку звонка. *Незамедлительно* вошел Серебрянников.

«Слушай, кажется, у нас на складе есть какое-то зимнее обмундирование», он вымолвил: 'кажется', 'какое-то', хотя превосходно знал, сколько полушубков, сколько валенок имелось в кладовой наркомата. «Сумеем одеть, обуть начальника доменного цеха Бакальского завода?»
«Сумеем.»

«Так позаботься.»

Серебрянников улетучился. Онисимов сказал Головне: «Иди, обмундировывайся. Съездишь на Бакальский участок и в Челябинск, потом опять ко мне приедешь. Отчет составь, сдай по команде. Рассмотрят без тебя.»

Новоявленный начальник доменного цеха не поспешил, однако, выйти. Лицо еще горело, но уже не малиновым тоном.

«Александр Леонтьевич, у меня к вам просьба.»

«Выкладывай.»

«Разрешите мне на одной печи ввести в прокат мое устройство.»

«Опять ты за своё... Не намеревался я в такой день ссориться с тобой, но куда денешься? Читал твою статью в 'Сталеплавильщике'. И влепил выговор редактору. Зачем помещает эту твою блажь?»

Головня всё же попытался уговорить наркома, сказал, что затраты будут невелики, почти незаметны в масштабе крупного строительства.

«Не надо», отрезал Онисимов, «не забивай голову ни себе, ни мне этими занятиями. Никаких отклонений от чертежей Гипромеза не позволю. Это лучшие американские стандарты. Они отобраны не с кондачка. Ну, подвели черточку», заключил Онисимов. Отбросив раздражение, он снова привлекательно, открыто улыбнулся. «Обмундировывайся и выезжай. Приказ о назначении пошлем тебе вдогонку.»

...Примерно через час, идя коридором от Онисимова, Челышев опять увидел Головню. Тот был уже обряжен в новехонький нагольный полушубок до колен, в необмявшиеся серые валенки. Меховую ушанку он держал в руке, на которую уже натянул толстую шерстяную рукавичку. Шагая навстречу академику, Головня неожиданно развернул плечи и, как бы отдавая честь, поднес свободную руку к непокрытому русому зачесу.

Оба остановились.

«Не хотелось при Онисимове обсуждать вашу статью. Я с ней познакомился.»
«Познакомились и...»
«Скажу дружески и чистосердечно: ничего у вас, молодой человек, не выйдет.»
К удивлению Головня словно ничуть не огорчился. Сдернув варежки, сунув их под мышку, он быстро добыл из-под полушубка записную книжку, карандаш и с усмешкой, над которой был, видимо, не волен, объявил:
«С вашего разрешения зафиксирую. 'Дружески и чистосердечно: ничего у вас, молодой человек, не выйдет'. Так? Не возражаете?»
«Хм... Пожалуйста.»
«Теперь обозначу дату: седьмое ноября 1941 года. Когда-нибудь напомню вам об этом.»
Головня поднял голову от записной книжки. Именно в этот миг Челышев вдруг совсем распростился со своими душевными смятениями, так долго его мучившими, бесповоротно поверил: победим. Такова она была, последняя капля, которую он жаждал. Ею еще не стал телефонный звонок Москвы, пересказанный неузнаваемым в тот вечер Онисимовым.
Да, если этот молодой Головня, чего только ни видевший, ведший эвакуацию под огнем, пешком выбиравшийся из опустелой Кураковки, проехавший в теплушке через пол России, если уж он преспокойно говорит: 'Когда-нибудь напомню вам', значит, различает впереди неоглядное время, ему принадлежащее. Ему и нам.
Волнение, подъем были такими, что даже грудную клетку заломило. Переводя дух, ничего не сказав, Челышев пошел к себе.

...Потом случилось вот что.
В 1945 году, уже после того, как была отпразднована великая победа, Челышев во главе группы металлургов слетал за океан.

И среди прочих новостей привез такую: на нескольких доменных печах Америки применен способ, а так же и конструкторские решения, впервые введенные в Кураковке Головней-младшим.

Производительность печей, действительно, повысилась. По-видимому, вся доменная Америка постепенно усвоит этот способ.

«Я тут промазал», — откровенно признавался Челышев.

Онисимов невозмутимо отнесся к этой новости, обошелся без покаянных восклицаний. Однако, к Петру Головне, который опять директорствовал на старом месте, в возрожденной Кураковке, стал относиться лучше. И дал команду опробовать на двух-трех заводах его устройство.

Но Петр не унимался. Пользуясь всяким случаем, заявлял, что способ почти не используется, внедрение идет крайне медленно.

И, наконец, в 1952 году, — как раз по случайному совпадению в те дни, когда из-за печи Лесных Онисимову пришлось испытать на себе каприз, холодное негодование Сталина, — Головня-младший обратился с письмом-жалобой в ЦК. Историю ошибки, — употребим здесь это слово в прямом его значении, — схватки директора завода и председателя Госкомитета нам в этой книге не рассказать: конструкция не выдержит такой нагрузки. Перипетии, столкновения, иногда поразительные, мы постараемся изложить в одном из следующих томиков, задуманной автором серии, — изложить не комкая, в сплетении с большими вопросами времени, сохраняя верность, насколько это мне дано, исследовательскому духу, объективному взгляду. Там мне опять поможет дневник Челышева.

Сейчас машина несет академика в Андриановку. Черт побери, Петр все-таки его подшпилил. А раньше никогда того казуса не задевал. Дяденька с характерцем. Но что он тут ухлопает? А вдруг? Чем чёрт не шутит?..

Вечером Челышев сидит в тихой, хорошо протопленной комнате для приезжих. Когда-то будучи здесь, в Андриановке, главным инженером завода, он жил некоторое время как раз в этом одноэтажном старом доме, сложенном из плитняка. Да и потом, наезжая в Донбасс, колеся по заводам, тут не однажды обитал.

Прикатив сегодня в Андриановку, Челышев весь день провел на людях, провернул два летучих заседания, разговаривал со всякими старыми знакомыми, наскоро прошелся по заводу, обедал у директора и, наконец, был отпущен на покой в эту теплую славную комнату. Сменил здесь костюм на вольную пижаму, прилег, но недолго повалялся. Завтра в городском театре ему предстоит открывать совещание доменщиков. Произнести вступительную речь. Что же он скажет?

Вспомнилось недавнее собрание, где он, юбиляр, отвечал на приветствия. Как ни суди, дата изрядная — семьдесят пять. По сему поводу Челышева наградили орденом Ленина, уже не первым. В газетах печатали портрет. Устроили и торжественное заседание в его честь. Пришлось, ничего не попишешь, и ему выйти на трибуну в набитом зале под ослеплявшими кино-юпитерами. Не разделавшись и в старости с застенчивостью, от которой в свое время, юношей, дико помучился, Челышев, ей-ей, предпочел бы в юбилейный день находиться где-нибудь подальше от Москвы. И пускай бы его дата отшумела без него. Однако признаться, не только застенчивость вызывала этакое намерение ускользнуть. Челышев, кроме того, втайне попросту боялся: вдруг молодежь будет блистать отсутствием на юбилейном заседании. И он, к своему стыду, сразу обнаружит, что уже не интересен, не нужен молодому металлургическому племени. И вышло в конце концов очень хорошо. Новое поколение заполнило и верхний ярус, и задние ряды внизу, даже у стен теснились молодые люди. Тронутый этим, Челышев разговорился, разошелся в своей речи. Допустил, наверное, и стари-

ковские нравоучения, и длинноты, подчас, что называется, жевал мочалу, — кому же неизвестно, что Челышев в ораторы негоден? — и все-таки его слушали, не кашляя. Тот вечер ему будто вновь даровал его давнее, не внесенное ни в какие штатные списки, звание главного доменщика советской страны. Ему хотелось, глядя в стихший зал, ни единым словом не сфальшивить, высказать без высокопарности что-то самое главное, чего в обыденности не говоришь.

«Я благодарен, что пришлось участвовать в походе старой России в новую Россию. Считаю это самым большим счастьем в моей жизни.»

Дальше он говорил о чудесах, случившихся на его веку металлурга. Пора первых пятилеток. В разоренной отсталой стране вырастают могучие заводы, о каких когда-то толковал Курако в 'доменной академии' у ветхих печей Юзовки. Нет, о таком размахе, пожалуй, и он не фантазировал. Этого не назовешь иначе, как чудом.

Поразительным было и второе чудо, вторая неожиданность. Как он в 1943 году видел в Донбассе, Приднепровье разрушенные гитлеровской армией заводы. Всё было будто растоптанно, превращено в бесформенные груды кирпича и скорченного взрывами железа. Думалось, этого уже не восстановить. Но потребовалось лишь несколько лет, чтобы сметенные с лица земли заводы встали из праха, — встали еще более могучими, более прекрасными, чем прежде.

Его речь на юбилее была помещена в виде статьи в газете. Редакция несколько удивила юбиляра, поставив заголовок 'Три неожиданности'. Да еще добавила несколько словечек неумеренного, — совсем не в стиле Челышева, — восхваления разных нынешних реорганизаций. Правда, старик понимал, что сам дал некоторый повод для этого, сказав на вечере о неожиданных новинках производства, которыми и он, директор научно-исследовательского центра металлургии, подчас пре-

небрегал, — новинках, освобожденных от препон, от ставшего привычным 'запрещается'.
Прочитывая гранки, присланные ему на подпись, Челышев, порой, внутренне морщился, но все же по обыкновению не вступил в спор, подмахнул статью.
Вчера он увидел этот номер газеты на диване у Онисимова, навестив его в больнице. Неловко получилось. Помнится, Онисимов поймал взгляд Челышева, покосившегося на газету. Поймал и отвернулся. Сделал вид, что не заметил.
Чёрт побери, вчера в суете, Челышев так и не сумел взяться за дневник, не записал, как свиделся с Онисимовым. Долг велит теперь это проделать. Надо также занести на бумагу и свои сегодняшние впечатления.

Крякнув, Челышев достает тетрадь, ему повсюду сопутствующую, садиться к столу, берется за ручку самописку.

Воспользуемся же опять записями Челышева, не ленившегося исправлять службу, которую он сам себе назначил: вверять дневнику свои свидетельства о веке, о новой земле, какой он принадлежал.
Поднявшись в знакомую нам палату полулюкс, Челышев застал Онисимова в гостиной-кабинете. Порядок в комнате, всегда свойственный Онисимову, был нарушен словно бы сборами в дорогу. На стуле и на круглом столе расположились два чемодана с откинутыми крышками, уже частью заполненные папками, книгами, одеждой.
«Как видите, укладываюсь», бодро объявил Онисимов. «Переправляюсь в Щеглы.»
Он встретил гостеприимной улыбкой верзилу-академика. Челышеву меж тем показалось, что больной на какое-то мгновенье пристально в него вгляделся, словно стремясь что-то прочесть, разгадать в его чертах. Может быть, тайну своей болезни. Но тотчас зеленоватые глаза утратили эту пытливость. Онисимов опять улы-

бался. Да и выглядел он вовсе неплохо. Во всяком случае, не так худо, как Челышев приготовился узреть. Примесь золы в желтоватом лице не была пугающей. Однако над левым углом рта вспухла темная горошина. Медицинская сестра, провожавшая Челышева в палату, предупредила: не покажите удивления, когда увидите на лице шишечки. Вон еще одна на лбу, у самой границы так и не тронутых сединой волос.

В ту же первую минуту Челышев приметил: больной Онисимов вовсе не опустился. Щеки были свеже выбриты. Одет, словно на службе.

«Пожалуйста», продолжал Онисимов, «могу теперь не только по телефону вас поздравить.»

Челышев разумеется помнил: на юбилейном вечере в торжественном заседании была оглашена и теплая телеграмма Онисимова.

«Благодарю, благодарю. Дело, слава Богу, уже прошлое.»

Следуя пригласительному жесту Онисимова, Челышев уселся на диван. Притулившаяся здесь же диванная подушечка была скрыта под горкой газет. Вот тогда-то Челышев и увидел, что сверху лежит тот самый номер «Известий», где была напечатана его статья. Испытывая неловкость, он отвел глаза, насупился. И вдруг снова встретился со взглядом Онисимова. Тот невозмутимо посмотрел в сторону, будто ничего не заметил. Для Челышева это стало знаком, что Онисимов сейчас не хочет затрагивать некоторых тем, отворачивается от каких-то истин, как бы оберегает себя. Что же, Челышев постарается ничем не задеть больного.

«Мне тут уже сообщили насчет вашего переселения. Дело хорошее.»

Онисимов почти небрежно спросил:

«Вы беседовали с врачом?»

«Да, справился про вас». Челышев действительно перед тем, как войти к Онисимову, отыскал бородатого заведующего отделением: тот сокрушенно почмокал: 'Неоперабелен'. «Справился, и теперь не беспокоюсь.

Ваше дело на мази. Отличное у вас будет лекарство — свежий воздух. И начнете поправляться полным ходом.»
«Вряд ли, болезнь затяжная.»
«Ничего. Уж если бы врачи за вас тревожились, то, будьте уверены, не рискнули бы послать вас в санаторий. Эта публика рискованно поступать не любит.»
Устроившись поудобней на диване, Челышев вытянул длинные ноги. Пожалуй эта непринужденная поза подействует на Онисимова верней, чем успокоительные речи. Тот и впрямь снова улыбнулся — радушно, привлекательно. И все же горошинка в углу рта чуть скривила эту улыбку.
Черт побери, теперь Челышеву придется тронуть еще одну тему, о которой нельзя же совсем промолчать.
«Я тоже собираюсь в путь. Лечу завтра в Андриановку, на совещание доменщиков.»
«А... Вернетесь, тогда подробно мне расскажете. Идет? Над чем сами-то работаете?»
Втайне гость изумлен выдержкой Онисимова. Так болен и так собой владеет. Избавил и Челышева и себя от трудного разговора насчет третьей неожиданности.

«Э, что моя работа? Заседаю. По два, а то и по три раза в день. Хотя чего Бога гневить? Не всё же попусту просиживаем штаны. Случается, толкуем и о важных, стоющих вещах. Да вот только сегодня...»
Чувствуя, что освобождается от томительной неловкости, — неудобные темы, кажись, позади, — Челышев сообщает:
«Нынче слушали агломератчиков. Они теперь ходят в именинниках: отработали, отладили выпуск офлюсованного агломерата. Об этом авторская группа и докладывала сегодня.»
Он пускается в подробности и вдруг видит серовато маленькие руки сидящего рядом Онисимова. Одна кисть сжимает другую. Челышеву памятно, — Онисимов так делал и раньше, когда хотел скрыть непроизвольную дрожь пальцев. Челышев спохватился. Вот

угораздило. Как он мог позабыть, сколь тяжело эта новинка продиралась еще при Онисимове...

Ба, вот ведь о чем можно поговорить: металлургический комбинат на Шексне. Это, конечно, Онисимову будет интересно. Бросив агломератчиков, он рассказывает, что комиссия, назначенная Советом Министров, отвергла, наконец, всякие сомнения насчет этого комбината. Больной оживляется, даже лицо словно свежеет. Уже примерно полгода назад появилась статья, утверждающая, что завод на Шексне, расположенный далеко от угля и от руды, всегда будет нерентабельным, и его сооружение явилось, таким образом, ошибкой. Это обвинение тяготело над Онисимовым. Некогда он по заданию свыше *готовил вопрос* о развитии металлургии на ближнем Севере, провел десятки совещаний, придирчиво выверял каждую цифирку, не раз вынимал из стола счеты, щелкал костящками, изучая сметы, балансы, калькуляции. И пришел к убеждению: строить экономически целесообразно. И получил сверху 'добро'.

Сейчас он с интересом расспрашивает о перипетиях заседания комиссии, о формулировках решения. Челышев поясняет: спор, собственно, был решен самими металлургами Шексны. Они доказали делом, что могут работать безубыточно. Добились лучшего за всю историю советской металлургии коэффициента использования полезного объема доменной печи. К этому привела высокая культура работы, — не одно какое-либо средство, а весь комплекс передовой технологии.

Онисимову приятно это слушать. Культура работы. Технологическая грамотность, четкость в каждой мелочи. Именно этак он, близко знавший иностранные заводы, 'немец', как в шутку окрестил его Серго, именно так Онисимов годами неуклонно школил, воспитывал металлургов.

Челышев, однако, снова осекается. Разговор опять слишком близко подошел к опасной зоне. Не расска-

зывать же Онисимову, что металлурги северного комбината включили немало нового в свой комплекс передовой техники, смелее других применили способ, за который настойчиво ратует Головня-младший.
Неожиданно Онисимов сам произносит это имя:
«Вот еще что... В Андриановке вы, конечно, встретите и Петра Головню. Заглянул бы ко мне, когда будет в Москве.»
Его тон опять небрежен. Так, вскользь брошенное приглашение. Но руки по-прежнему сцеплены.
«Передам.»
Онисимов бодро встает.
«Сидите, сидите, а я с вашего разрешения буду укладываться.»
Челышев тоже поднимается:
«Да и меня еще ожидают сборы. Пойду. А вы поправляйтесь.»
«Постараюсь. Не забывайте меня. Жду вас в Щеглы.»

Пожав костистой пятерней маленькую руку больного, ощутив ее дрожь, академик с облегчением покидает палату полулюкс.

Одетый в пижаму Челышев сосредоточенно пишет в комнате для приезжих. Стук в дверь отвлекает Челышева.
«Да, да.»
Он дописывает фразу, поднимает голову и видит Головню-младшего.
Петр уже успел умыться, переодеться, пообедать. Одну руку Петр прячет за спину и не сдерживает улыбку:
«Разрешите вас поздравить с юбилеем.»
«Ох, сегодня уже напоздравляли. Пора бы с этим кончить.»
«У меня особенное поздравление. Не с пустыми руками к вам пришел». Из-за спины Петр выпрастывает тяжелого, поблескивающего разноцветным оперением селезня. «Примите.»

«Что вы! Куда мне! Значит, все-таки добыли? Не ожидал. Никак не ожидал.»

«Вот как раз и придется. Еще один пример к вашей 'Третьей неожиданности'.»

«Э, это уже четвертая.»

«А что? Еще вас удивим и, наверное, не разок.»

«Чем же? Выкладывайте, выкладывайте, ежели уже начали. Что еще придумали?»

«Да многое замыслено. Но надобно испробовать. Для таких проб мы решили на Кураковке заменить вагранки малыми домнами.»

Петр увлеченно излагает свою мысль. Вагранка — устарелая вещь. Приходится расплавлять чугун для литейного цеха и одновременно эти малые домны послужат базой для всяческих опытов. Пробовать, пробовать, — вот чего жаждут изобретатели. Право на опыт, на опробирование, — мы это должны провозгласить. И, как требует марксизм, подкрепить это право материально. Таков смысл малых домен. Уже и средства мы на это выкроили.

'Настоящий инженер', — вдруг думается Челышеву. И лишь в следующий миг на ум приходит: именно этак когда-то и его, молодого Челышева, окрестил Курако.

Что же, пожалуй, уже и не очень страшно сойти, как говорится, с круга: есть наследники. А впрочем, почему же еще и не пожить?

Старик произносит:

«Ей, ей, кажется, и впрямь доживу я до четвертой неожиданности.»

«Безусловно.»

Этот свой пылкий возглас Петр еще подтверждает взмахом обеих рук. И вдруг улыбается, глядя на охотничью свою добычу.

«Разрешите, я этого незапланированного селезня тут где-нибудь устрою.»

«Не надо. К чему мне?»

«Да везите хоть в Москву. Или здесь нам, кураковцам, закатите ужин.»

Петр озирается, видит брошенную на диван газету, укладывает на нее селезня.

Челышеву невольно вспоминается диван, горка газет в больничной обители Онисимова. Без всякой связи с предыдущим, он сокрушенно произносит:

«Онисимов-то... Слышали? Безнадежен... Погибает. Вчера был у него.»

Петр молча воспринимает эту весть. Челышев продолжает:

«Просил вам передать, чтобы заглянули к нему, когда будете в Москве.»

Петр по-прежнему безмолствует. Губы сжаты. Нервно заиграли, заходили желваки на скулах. Тяжелые салазки словно бы еще потяжелели.

«Надо бы, Петр Афанасьевич, к нему пойти.»

Директор Кураковки опять не отзывается.

«Так не буду вам мешать», — наконец, сумрачно говорит он.

Сутулый, широко раздавшийся в лопатках, он оставляет комнату.

«Тоже мне, орешек», бормочет Челышев.

И немного погодя снова берется за перо.

Час спустя, Челышев в шляпе, в пальто шагает по каменным приступкам дома приезжих под ночное небо Андриановки.

Доменщика-академика влечет завод.

Александр Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

РАССКАЗЫ

Матренин двор. Случай на станции Кречетовка. Для пользы дела. Захар Калита. В томе 308 страниц и фотография А. И. Солженицына на меловой бумаге.
Цена в твердом переплете 18.— н. м., в мягком — 15.— н. м.
В США и Канаде 6.— ам. дол. и 5.— ам. дол.

ТОМ ВТОРОЙ

РАКОВЫЙ КОРПУС

600 страниц

Цена в твердом переплете 24.— н. м., в мягком — 21.— н. м.
В США и Канаде 8.— ам. дол. и 7.— ам. дол.

ТОМА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Цена каждого тома в твердом переплете 18.— н. м. В США и Канаде 6.— ам. дол. Цена каждого тома в мягком переплете 15.— н. м. В США и Канаде 5.— ам. дол.

ТОМ ПЯТЫЙ

ПЬЕСЫ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ

Олень и шалашовка. Свеча на ветру. Правая кисть. Крохотки. Пасхальный крестный ход. Читают Ивана Денисовича. Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. Ответ трем студентам. В томе 270 стр.
Цена в твердом переплете 15.— н. м., в мягком — 12.— н. м.
В США и Канаде 5.— ам. дол. и 4.— ам. дол.

ТОМ ШЕСТОЙ

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА». КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Письма, записи заседаний и др. материалы, показывающие отношение А. Солженицына к СП, к вопросам цензуры, к судьбам отечественной литературы. **Наиболее полный сборник документов,** начиная с письма IV съезду СП.
Цена в твердом переплете 18.— н. м., в мягком — 15.— н. м.
В США и Канаде 6.— ам. дол. и 5.— ам. дол.